ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОМПАС РОССИИ



Сергей Крутилин

ЛИПЯГИ

Литературный компас России

Сергей Крутилин

Липяги

«Азбука»
1963-1865

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Крутилин С. А.

Липяги / С. А. Крутилин — «Азбука»,
1963-1865 — (Литературный компас России)

ISBN 978-5-389-35646-7

«Липяги» – главный роман в творчестве уроженца рязанской земли Сергея Крутилина. Он рассказывает о жизни русского села в середине XX века, но это не просто хроника деревенской жизни, а масштабное и глубокое размышление о русском крестьянстве, о цене прогресса и вечных нравственных ценностях. Правдивое, искреннее повествование, в котором частные судьбы людей тесно переплетаются с историей страны, сделало «Липяги» одним из значительных произведений «деревенской прозы», стоящим наравне с творчеством таких авторов, как Валентин Распутин, Федор Абрамов и Василий Белов. Само по себе это литературное направление отразило тревогу всего общества за судьбу русского крестьянства и сохранение национальных традиций. Липяги – реальное село в Рязанской области и в то же время собирательный образ рязанской глубинки, многое взявший от расположенного неподалеку села Делехово, родины писателя. Крутилин с искренней любовью и теплотой описывает быт, нравы и особенности деревенского сообщества, словно стараясь запомнить милые сердцу детали неумолимо исчезающего мира, в котором труд был не только экономической необходимостью, но нравственной опорой и основой человеческого достоинства.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-35646-7

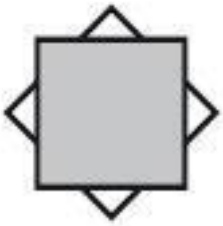
© Крутилин С. А., 1963-1865
© Азбука, 1963-1865

Содержание

От автора 7
Книга первая 9
Назаркин клад 9
Дом отца Александра 23
Бирдюк 39
Конец ознакомительного фрагмента. 49

Сергей Крутилин
Липяги

Памяти матери
Прасковьи Игнатьевны
КРУТИЛИНОЙ
посвящаю



Серия «Литературный компас России»



© С. А. Крутилин (наследник), 2026
© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2026 Издательство Азбука®

От автора

Говорят, что в Исландии чуть ли не всякий рыбак и скотовод – писатель.

Родись я в Исландии, мне, наверное, не пришлось бы объяснять, кто я и почему взялся за перо. Но я живу не в далекой Исландии, где айсберги и летучие мыши, а в таких дорогих мне и близких Липяга́х. Мой дед – потомственный липяговский мужик – не то что не умел читать Псалтырь, но не мог вывести инициалы свои при жеребьевке. Всюду, где требовалась подпись, дед ставил крестик. А отец мой, Василий Андреевич, хоть и считался грамотеем – почему большую часть жизни проходил в колхозных бригадирах, – но, как помню, все время писал одним и тем же огрызком карандаша. Для Василия Андреевича, бывало, мука мученическая, когда ему приходилось проставлять чернилами бабий заработок в их трудовые книжки. Мать моя более всех учена. Она три года ходила с «буквицей» к нашему липяговскому дьячку. Она и по сей день пишет с «ять» и после каждого слова ставит точку.

Только что же это я вдруг заговорил о своей родословной, не рассказав про наши Липяги́?

Липяги не очень большое село, но все-таки село, поскольку в свое время были у нас и церковь, и сельский совет. Говорю: в свое время. Теперь на месте церкви – это рядом тут, напротив школы – буреют заросли репейника: еще лет тридцать назад церковь разломали и из остатков кирпича воздвигли на окраине села ферму под шиферной крышей. А сельский совет совсем недавно переехал в соседнее село, в Хворостянку. И сельский совет, и правление нашего колхоза… Но об этом потом.

Не знаю, правда ли, но говорят, что где-то есть еще одни Липяги. И будто село то больше нашего. Может, оно и так, но я рассказываю о наших Липягах. Я родился и вырос тут, бегал тут в школу и теперь вот уже пятнадцатый год в этой же школе учительствую. Так что про те, другие Липяги, и слыхивать ничего не слыхивал.

И не только я один. Все наши липяговские мужики тех, других липяговцев, за родню не признают. Старожилы уверяют, что наши Липяги исстари так назывались. Что это именно про наше село такая присказка в народе сложена: «Не спеши в Сандыри – в Липягах ночуешь…»

Мой крестный, дядя Авданя, прозванный за косноязычие Бур-буром, любитель рассказывать всякие истории, уверяет, что о нашем селе было упомянуто в «Повести о Батыевом приходе на русские земли».

Однако листка этого, где говорилось про Липяги, почему-то не сохранилось. Но как бы там ни было, липяговцы знают одно: что наше село древнее и оно извечно стояло на этом самом месте…

Да, совсем было забыл сказать о месте-то!

Представьте себе междуречье Оки и Дона. Скучнейшая безлесная равнина. Овраги да соломенные крыши изб… В древних былинах про наши места говорится так: «Сторона-то широкая, что от Оки-реки потягла до Дону глубокого». Открытая равнина служила плохой защитой от набегов диких племен.

Кто только тут не шлялся! Бывали тут и черемисы, и болгары, и половцы… Но дольше всех разгуливали по нашей земле татары.

Большинство русичей, узнав о приближении врагов, уходили на север, в леса. В смуту в лесах, что росли по реке Вёрде, беженцев скапливалось видимо-невидимо. Отсюда и название центра этого края – Скопин.

Большинство уходило… Но, видно, не все наши предки думали так, как отвечал рязанский князь Юрий Ингоревич наглому Батыю: «Олна (когда) нас всех не будеть, тож все то ваше будеть…» Кое-кто из местного населения вел дружбу с татарами.

Разве не слышится что-то татарское в названии нашего села?

Но если б в одном названии! Вы только гляньте на нашего липяговского мужика – и вам все станет ясно. Наши земляки рязанцы, живущие за Окой, как все исконно потомственные славяне, белобрысы, голубоглазы. У нас же в Липягах белоголового днем с огнем не отыщешь. Липяговцы смуглолицы, черноволосы; глаза у наших мужиков черней лебедяньского чернозема. А бабы – на моей памяти – носили клетчатые поневы и напяливали на голову рога языческих богов – кички.

Это что касается внешности. А если заглянуть поглубже, в душу иного липяговца, то там еще больше восточного, иноязычного.

Ничего не поделаешь – уж такое у нас место. Все бывали тут, и не нам упрекать предков в недостойности их поведения. Да и вряд ли помогут упреки: слишком долго продолжалось «соседство» с иноязычными. А уберечь народы от общения друг с другом нельзя. Это все равно что огородить речку, чтобы вода ее не сливалась с водой других рек. У нас, правда, находились и такие ловкачи, только у них ничего не вышло. И поныне наша речка Липяговка течет себе, как она текла тысячелетиями: Липяговка впадает в Теменку, Теменка – в Чернавку, Чернавка – в Непрядву, в ту самую Непрядву, на берегу которой собиралось русское ратное войско перед Куликовской битвой. Ну, про эту речку вы, наверное, слыхали. Непрядва впадает в Дон возле села Монастырщины, а Дон… и так далее…

Книга первая

Назаркин клад

1

Нет такого места вблизи Липягов, про которое не ходило бы у нас легенд и поверий. Рассказывают всякое – и про Разбойный лог, и про Кочки, и про Ясновое… Но, пожалуй, больше всего легенд связано с Денежным.

Денежным зовется у нас дальний глухой лог. Вернее, не только лог, но и все это место: и гора над оврагом, и ключ, из которого вытекает Липяговка, и болотистый луг вдоль ручья.

Далеко за селом, на самом что ни на есть юру, начинаются две проточины. Одна от Дуба, от угла Жерновского леса, другая совсем с иного конца – от Затворного. Начинаются они незаметно, будто промоины; однако вскоре каждая из них переходит в глубокий овраг. Летом по дну этих суходольных овражков – желтоватая мозаика глиняных наносов: следы весеннего паводка и майских дождей. То тут, то там, могуче взломав потрескавшуюся кору иссохшейся почвы, упрямо зеленеют кусты конского щавеля; изредка на песчаных отмоинах стелются спирали белоглазой повилики. А по крутым откосам оврагов фиолетово-дымчатые пятна кашки чередуются с кустами краснотала и ежевики.

Описав полукружья по границам липяговских владений, овраги сходятся. Сойдясь, они образуют глубоченный мрачноватый лог. Место, где сходятся овраги, – глухое, отчужденное. Земля тут будто вздыблена могучим подземным толчком. Крутолобый скат порос корявыми приземистыми дубками. А под самым бугром в небольшой расщелине на дне лога бьет ключ.

Вот все это место: и гора над оврагом, и ключ, и заболоченная лужайка вдоль ручья – и зовется у нас Денежным.

Помню, когда-то на этом месте, над ключом, был колодец. Дубовый сруб его, поросший мхом, наглухо закрывался крышкой. Вблизи ключа – часовенка; под пошатнувшимся шатровым навесом желтела иконка с ликом Божьей Матери. Каждой весной после полой воды, вырядившись по-праздничному, мужики с лопатами выходили в степь – чистить полевые колодцы. У нас много было таких колодцев: и в Поповых Порточках, и в Ясновом, и у Подвысокого, – и все их весной чистили.

Ныне липяговцы не утруждают себя заботой о родниках. Теперь источник у Денежного, как и все другие полевые колодцы, запущен. Сруб давно сгнил; края расщелины, где бьет родник, заросли осокой; вокруг ключа, в траве, валяются ржавые банки из-под консервов, обрывки газет.

Однако ничто не в силах задавить ключ – ни обвалы, ни приносимый паводками ил, – могуче извергает он из чрева земли свои темные, вечно живые буруны. И бежит день и ночь рожденный им ручеек. Сначала по песочку, потом по болотцу, меж кустов камыша и осоки, на каждом шагу ему помогают другие ключи, невидимые в болотистых кочках. Он с каждым шагом полнеет от их вод, набирает силы, и когда минует Денежный, его уже не назовешь ручейком: это уже речка – Липяговка…

То ли по причине отчужденности этого места, то ли и вправду было какое-то событие, но в народе сохранилось предание, будто в Денежном зарыт несметный клад. От дедов к внукам передается рассказ о том, как возвращался с Куликова поля победитель Мамая князь Дмитрий Донской. По всем большим и малым дорогам от Куликова на Москву двигалось войско. Сам

великий князь возвращался «большой» дорогой на Венев. А обоз с золотом и иными драгоценностями, захваченными у татар, пробирался соседней дорогой на Липяги.

Было это поздней осенью; отряд в пути заблудился. Под самыми Липягами в открытом поле на обоз с золотом налетел полк литовского князя Ягелло, спешившего на помощь Мамаю. Произошла стычка. Видя, что силы неравны, обозники решили спрятать золото. Они облюбовали глухое место, отбиваясь от наседавших врагов, в темноте, наспех, закопали клад.

В ночном бою все русские были перебиты. Получив известие о пропаже обоза, Дмитрий Донской послал на розыски два полка воинов. Те отыскали место ночного побоища. Но золота не было. Всюду пустые опрокинутые повозки, трупы воинов и лошадей… Москали вернулись ни с чем. Они доложили князю, что татарским золотом завладел коварный Ягелло.

А клад-то и по сей день лежит на том самом месте, над оврагами, в Денежном!

«Лежит-лежит!» – уверял меня дед.

Не знаю, так ли все это было. Наш историк, например, уверяет, что Ягелло, великий князь литовский, вообще не выступал на помощь Мамаю и, следовательно, никакого отряда русских не уничтожал. Но как бы там ни было, а все наши мужики верят в реальность клада, якобы зарытого в Денежном. Мало того, редко кто из липяговцев в старину не пытал счастья, не пробовал отыскать клад. Делалось это, как правило, в одиночку, скрытно от других. Но вот что странно: каждому, кто отваживался на поиски, непременно мешала «нечистая сила». То ведьма пролетит на помеле, то пронесется по степи огненная колесница, то послышится человеческий голос из-под земли. Одним словом, с каждым, кто рылся в Денежном, непременно что-либо случалось. И напуганный до смерти мужик потом всю жизнь рассказывает про ту ночь всякие небылицы.

Жутким, колдовским местом считается у нас Денежный…

2

Однажды в пору сенокоса и случилось то, о чем хочу теперь рассказать.

Мы косили у Денежного. Мы – это дед Печенов, сосед наш железнодорожник Василий Кочергин, дядя Авданя, мой крестный, я и еще несколько мужиков. Весь луг выкашивали тракторной сенокосилкой и только самое болотце вдоль ручья добивали вручную.

Вечерело. Над ручьем, густо заросшим осокой, стлался туман. Клинышек, который мы доканчивали, был комковат, и шедший за мной дед Печенов несколько раз всаживал косу в кочку и потом, чертыхаясь, подолгу смурыгал лезвие бруском.

– Добьем, что ли? – спросил, обращаясь к косцам, Авданя.

– Да чо ж оставлять-то! – бодро за всех ответил Василий Кочергин.

Авданя махнул еще раз-другой и, довершив ряд, вытер косу пучком травы. Потом он поставил лезвие на носок кирзового сапога и, нагнувшись, начал точить косу.

Следом за ним и я добил свой ряд и так же, как и Евдоким Кузьмич, достал из брусницы брусок и стал точить им свою ливенку. Коса у меня была старая. Ею косили и дед, и отец. Лезвие сношено почти до обуха. Точить такую косу неудобно, но я никогда не согласился бы работать другой косой – уж очень легко косовище и остро лезвие у нее.

Наточив косу, мы вместе с Авданей выкошенным рядом пошли на новый заход. Василий Кочергин и дед Печенов еще доканчивали прокос.

Ходы были короткие. Не знаю, как вы, а я не люблю коротких ходов. Не успеешь втянуться как следует, глядишь – ряд уже кончился. Снова вскидывай косу и отправляйся на новый заход. Но к вечеру, когда болит каждая косточка, короткий ход даже приятен. Подналег, скосил ряд – и опять передых. Я-то еще креплюсь, а старичкам усталость чувствительна. Я

замечаю это по Евдокиму Кузьмичу. Утром, когда мы только заступили на делянку, он шутил не переставая; лишь появится свободная минутка, Авданя тут же принимается за свои байки.

Крестный мой – чудный рассказчик. Особенно любил он байки про дедов, про старину. Причем вот что любопытно – начинает всегда с какого-нибудь реального случая, но присочинит к нему такое, что умрешь со смеху.

Утром Авданя потешал нас. А сейчас идет впереди меня молчаливый, ссутулившийся. Деревянная брусница с пучком розовой кашки болтается у него на боку. Рубаха на плечах потемнела от пота; залатанные штаны обвисли, и он не поправляет их, хотя они мешают ему идти.

– Ну как, Андрюха, ломит спину-то без привычки? – Авданя снял с плеча косу, крякнул.

– Ломит, Евдоким Кузьмич.

– То-то! Косить – это тебе, брат, не книжечки почитывать!

Евдоким Кузьмич замахнулся, ударил косой и пошел вперед.

«Ишь, – подумал я, – крестный-то догадывается, видать, что неспроста я к ним пришел». Признаюсь, у меня была задумка – провести с колхозниками политбеседу. Уж какой год я веду кружок текущей политики. Зимой мы собираемся в красном уголке, а летом, в страду, где ни сел – там и клуб. Я взял косу и пришел к косцам. Однако к тому же я и свежие газеты захватил, и план, о чем говорить, составил. Авданя увидел газеты и решил подковырнуть насчет «книжечек».

Переждав, пока Евдоким Кузьмич уйдет хоть на окосье вперед, я взмахнул косой и пошел следом.

Травостой в логу хороший. Когда ударяешь косой, то чувствуешь, как напрягается в тебе каждый мускул. Потом рывок, словно кто-то ударил колотушкой по струне; ты прижимаешь пятку косы к земле, а левую руку норовишь поднять вверх – и тотчас же мохнатые кашки, длинноногие былинки тимофеевки, остролистые кусты пырея, горделиво стоящие перед тобой, никнут, сжимаются в рядок и ложатся в полметре от левой ноги. «Вжик! Вжик!» – и следом в голове отдается шорох переставляемых тобой ног: «Шук-шук».

«Вжик! Вжик!» – «Шук-шук…»

Мимо прошли Василий Кочергин и дед Печенов. Вскоре сзади послышались звон кос и глухие шаги косцов. Утром они наседали на меня, «подрубали» пятки. Теперь Кочергин при каждом взмахе покряхтывал. Дед Печенов часто останавливался и смурыжил косу сухим бруском. До самого конца ряда никто не обронил ни слова. Так, молча, мы сделали еще два-три хода. С каждой минутой лужок заметно уменьшался. Уже темнело, когда мы наконец добили клинышек. Облегченно вздохнув, вытерли косы влажной травой и берегом ручья направились вверх к роднику.

Было тихо; во всем чувствовалась умиротворенность, будто твоя усталость передалась всему вокруг. Косилка тоже перестала стрекотать, но трактор еще продолжал урчать где-то на малых оборотах.

– Ну, Андрюха, когда же будешь нас агитировать? – спросил Авданя, сбавляя шаг, чтобы идти со мной рядом.

– А я считаю, что уже сагитировал.

– И то, языком-то всяк может. Вон твой дружок, бывший наш председатель Володяка Полунин, как разведет лясы – что тебе соловей, заслушаешься. А ты с косой к нам пришел. Оно конечно, так-то агитировать доходчивее получается.

Евдоким Кузьмич поддернул сползшие штаны и, оживившись, продолжал:

– Скажите ведь, сколько я этих агитаторов за свою жизнь видел! Тьма-тьмущая! Во! Не даст Господь Бог соврать… – Авданя перекрестился и заговорил еще торопливее: – Сейчас-то свои пошли, на трудовые копеечки, можно сказать, выучили. А бывало, все из района приезжали. Как начинается какая кампания, так, глядь, является уполномоченный, и ну агитиро-

вать. Раз, помню, – это вскоре после войны было – явился на ферму агитатор по надою. Я рядом был, на конюшне. Вижу такое дело – пришел послушать. Я страсть как люблю, когда агитируют. Да… Явился в шляпе, в драповом пальто, с председателем. Одним словом, все как положено. А бабы как раз коров доють. «Плохо, – говорит, – у вас, товарищи колхозницы, с надоем!» А Таня Виляла – она и теперь баба озорная, а тогда и вовсе, помоложе была. Выступила она вперед да и отвечает: «Мы бы рады, только наши коровы больше дать не могут». – «А почему другие больше получают?» – спрашивает тот. «У наших коров, – отвечает Таня, – только по четыре соска. И сколько их ни дергай – больше не надоишь». – «А зачем же, в таком случае, – говорит агитатор, – вы держите дефективных коров? Надо таких коров выбраковывать из стада. Вон в Сандырях, к примеру…» – «А сколько же у сандыровских-то коров сосков?» – спрашивает тогда Таня. Тот важно так подумал, откашлялся и говорит: «Гм! Во всех передовых хозяйствах, – говорит, – коровы имеют по шесть сосков…» Ох, ну и смеху было! Не верите – у меня портки чуть не свалились наземь, до того ржал!..

3

Посмеиваясь над незатейливыми рассказами дяди Авдани, мы незаметно дошли до полевого стана. У самого ключа, в низине, горел костер. Повариха Лукерья Худова, старуха лет семидесяти, в фартуке, в старой, линялой кофте, босоногая, снимала чугунок с подставки. Девушки, хихикая, умывались у родника.

– Девки, хватит вам! Идите ужинать! – звала их Лукерья.

– А нас-то кормить будешь, Лукерья Ильинична? – Авданя приставил косу к свежесметанному стожку сена и подошел к костру.

Лукерья отставила чугунок, подула на обожженные руки.

– Вам, мужикам, снизу – погуще.

Ослепив всех фарами, подъехал к костру трактор. Огромнейшее – в человеческий рост – ребристое колесо появилось из темноты, покатилось, покатилось и встало. Фары погасли. Трактор пофыркал немного на холостых оборотах и заглох. Подминая кирзовыми сапогами жесткую траву, к костру подошел тракторист. На тракторе работал Назарка – старший сын нашего колхозного бухгалтера Петра Никодимыча. У бухгалтера много детей, и все они очень красивые: чернобровые, большеглазые. И Назарка – красивый парень. Он недавно демобилизовался из армии. У него не успели еще отрасти волосы на голове, и он их зачесывает под модных героев итальянского кино. Он донашивает солдатские галифе, но вместо гимнастерки на нем уже яркая клетчатая ковбойка. Не простая ковбойка, а с короткими рукавами, узкая, так что ее можно, не забирая, носить поверх брюк.

– Ну, девчата, чудо! Что мы сейчас со Сливой видели! – сказал Назарка, подходя к ручью, возле которого мылись девушки.

– Клад нашел, что ль?

– Нет, хуже: русалку видели.

– Брось сочинять-то! – отозвалась от родника Света Коноплина. – Ты своей Верке сказки рассказывай. Соскучилась небось.

Девушки захихикали. Все знают, что Вера Хапрова, дочь Тани Вилялы, сохнет по Назарке. Не одна она сохнет, и другие девушки вздыхают при виде тракториста. Но, как я успел заметить, равнодушен он к девчатам.

Назарка – большой выдумщик. Нет такого прибора в моем физическом кабинете, который он в свое время не поломал бы, разбирая и собирая. Теперь я часто вижу его возле кузни. Они с Бирдюком вечно над чем-нибудь мудрят.

– Не верите? А ну, Слива, подтверди! – Назарка перестал намыливать руки и требовательно посмотрел на прицепщика, стоявшего в стороне.

– Точно, девчата, – сказал подросток, стараясь казаться как можно солиднее.

– И ты видел, Слива?

– А то как же.

Девушки умывались. Вода в ключе была холодная; всякий раз, когда Света плескала воду себе на шею и плечи, она чуть слышно охала и задорно трясла головой.

– Ну, раз Слива подтверждает, тогда рассказывай. Ох ты, холодно-то как!

– Вот верите, только сейчас было… – начал Назарка. – Стали мы отцеплять сенокосилку, вдруг слышу, будто что-то плеснулось в ручье за осокой. Взглянул – стоит белая…

– Ври уж! – вытирая лицо полотенцем, Светлана посмотрела на Назарку, и отражение костра блеснуло в ее глазах.

– Честное комсомольское! Слива, подтверди!

– Точно, Света.

– Хочешь, Светик, пойдем вместе посмотрим! – горячо продолжал Назарка. – Куст осоки, а из-за него, вижу, белеет. Сначала голова поднимается, потом выше, выше, и уже грудь видна и все такое… Говорит: «Назарка! Иди купаться со мной. Я тебя поцелую…» Я ключом стукнул. «Сгинь!» – говорю. А она как засмеется, захохочет да руками по воде зашлепает. Я задрожал весь.

Света уткнулась лицом в полотенце и затряслась от хохота.

Назарка помолчал.

– А ну, Слива…

– Точно, так и сказала: «Иди, я тебя поцелую».

– Да, я задрожал весь, – повторил Назарка. – Не растерялся – и разом к трактору. Включил фары, и красоточка сразу смоталась. Только вода в том месте заходила кругами.

– Чего ж ты испугался? Покупался бы с ней… – сказала Светлана мягко, и я догадался, что они вели понятный только им двоим разговор.

– Ну ее! Холодная она… – отозвался Назарка.

– Страх-то какой! Мы теперь всю ночь не заснем – будет мерещиться! – удивлялись девушки.

– Эй, девки! Бросьте вы лясы Назаркины слухать! Ужин готов! – звала бабка Лукерья, громыхая алюминиевыми мисками.

4

Умывшись, девушки отходили от родника к костру. Неподалеку стояла телега, на которой приехали косцы, а рядом разваленная копешка сена. Девушки присаживались к копешке; Лукерья черпала деревянной ложкой кашу из чугунка и подавала каждому миску. При этом она непременно что-нибудь приговаривала: «Это Ирочке-милочке. А это Светику-семицветику…»

Потом получили ужин и мы, косцы. На некоторое время стало тихо. Только и слышалось дружное позвякивание ложек о края мисок да тяжелое дыхание натрудившихся за день людей.

Поднялась луна. Широкие светлые полосы пролегли по полям. А тут, в низине у родника, было сыро и сумеречно.

Поев, девушки относили пустые миски к костру и, зябко поводя плечами, возвращались; садясь, жались друг к дружке.

Вдруг неподалеку, у ручья, раздался пронзительный крик, и не успело погаснуть эхо, как что-то там зашумело, захлопало крыльями.

Все насторожились.

– Это, Назарка, тебя русалка кличет, – пошутил дядя Авданя.

– Кстись ты, Авданюшка! На ночь-то глядючи про нечистую силу вспомнил! – Лукерья перекрестилась.

– Цапля небось, – сказал я, чтобы разговор о «нечистой силе» не зашел слишком далеко: после ужина мне наконец хотелось начать беседу.

– Нет, цапля кричит жалобно. Это не ее крик. Это непременно нечистый, – настаивал Авданя.

– А ну как и вправду русалка? – встрепенулась Света. – Тут, у Денежного, все может быть.

– Да-а… местечко тут!.. – подхватил Авданя. – И как ему не быть в Денежном, нечистому-то! Ведь, посчитай, одного золота спрятано тут более тыщи пудов. А этих самых бриллиантов и всякого там жемчуга и никто не считал…

– Скажете тоже, дядь Авдань! – возразил Назарка. – Откуда у татар столько золота? Были небось какие-нибудь ризы да оклады с икон.

– Эх ты, «оклады»! Татарва небось сколько веков Русь-то обирала! И одну ли Россию? А сколько добра они вывезли из Польши? Вся Европа от них золотом откупалась. И все с Мамаем было. И все Донской – князь наш – и захватил. Да вот в Москву, жаль, не довез. А то Расея сразу бы стала побогаче там какой-нибудь Америки… Да-а…

– Тогда чего ж наши мужики не откопали клад? – выпытывал Назарка. – Миром взялись бы и…

– Пробовали…

Дядя Авданя погладил усы и многозначительно замолк.

– И вы, дядь? – подала голос Света.

– Как же! И я копался. Уж женатым был. Вот приехали мы раз сюда с дедом Евсеем. Старик он был забавный. Здоровенный, в гренадерах служил. А трусоват под старость стал. Наступила ночь… Ты помнишь его, Лукерья, Евсея-то?

– А то как же!

– Ну вот, наступила ночь. Луна еще не взошла. Только начали мы копать – глядим, от Затворного полем к Денежному катит катафалка. Белые лошади в мыле, храпят. Из-под колес повозки – искры огненные. А на колеснице гроб…

– Э-э, читали! – сказал Назарка. – Сколько их было, этих сказок про «заколдованное место»!

– Помолчал бы, старый! – уговаривала Лукерья Авданю. – Дети ведь…

Однако Авданя не послушал увещеваний поварихи. Завернув самокрутку, он привалился спиной к колесу телеги, и ну плести всякие небылицы про Денежный. Василий Кочергин поддакивал ему. Девушки, затаившись, слушали. Только один Назарка изредка возражал, перебивая Авданю короткими и ехидными репликами: «Брось заливать, дядь Авдань!» или «Во! Похлеще Жюль Верна!». Однако Евдоким Кузьмич не обращал внимания на его наскоки. Уж раз начал Авданя свои байки, его ничем не остановишь. Он любого оратора, даже самого Цицерона, заговорит.

«Ну вот, – подумал я. – Значит, все, никакой политбеседы провести не удастся. Две недели, а то и больше не было беседы. Столько событий, столько нового в мире, а тут – всякие байки про огненные колесницы и прочую чепуху… Узнает про все это Алексей Данилович Веретенников, парторг, ох и задаст же мне перцу! Скажет: „Что это вы, Андрей Васильевич, вместо беседы по плану сидели и слушали байки про черную магию?!“» Но вдруг мне пришла в голову мысль перехитрить Авданю. «Черт возьми! – сказал я себе. – Ты же педагог! А учитель должен уметь в любых условиях владеть аудиторией. Так, во всяком случае, учил тебя доцент Морковкин, преподаватель курса педагогики, рязанский Песталоцци!»

Ей-богу, я с благодарностью вспомнил доцента Морковкина, скучнейшие лекции которого повергали всех студентов в сон. И, вспомнив про то, что я педагог, сам решил перейти в наступление. Выбрав минуту, когда уставший от рассказов Авданя размышлял над тем, что бы еще придумать, я решил завладеть вниманием слушателей.

– А ведь я тоже искал клад! – сказал я.

– Уж будя вам! Так и искали?! – усомнилась Лукерья.

– Не я, а дед Андрей. Но я был при этом.

– А-а! Максимыч-то, выходит, тоже искал! – оживился Авданя. – И ведь ни разу не проговорился! Скрытный был мужик!

И не успел Авданя присочинить что-либо о моем дедушке, как я сам начал рассказывать. Должен признаться, когда я рассказываю, то у меня выходит интереснее, чем когда пишу. Только заговорил я, вижу, все отвернулись от Авдани и придвинулись ко мне. А на крестного моего никто и внимания не обращает. «Эка, перехитрил я тебя, крестный!» Думаю, расскажу сейчас «для затравки» про то, как дед клад искал, а там дальше – больше, перейду и к беседе по планчику…

5

– Было мне лет десять, а может, и того меньше, – начал я. – Однажды за ужином дед и говорит: «Ешь быстро, Андрюшка, и сразу спать ложись. Завтра чуть свет разбужу. Поедешь со мной пахать к Денежному». Я удивился, поскольку знал – у нас в Денежном не было своего надела. А тут – пахать! Однако спросить у деда побоялся. И лишь когда он ушел в сарай спать, я спросил о наделе у матери. «Дедушка выменял надел у дяди Ефрема», – сказала она.

Наутро меня разбудили рано. Возле сарая стояла уже запряженная повозка. Я наскоро выпил кружку молока и забрался в телегу. Там сошниками вверх лежала соха. Я уселся в задок, рядом со жбаном для воды; тут же, на вязке сена, белел узелок с едой. Едва повозка тронулась, как я заметил, что сижу на чем-то жестком. Посмотрел, под вязкой сена лежат лом и лопата. Помню, меня очень удивило это. Соха – это понятно, а к чему лом и лопата? Я спросил у деда. «Сиди себе и сопи в две ноздри!» – огрызнулся он. Больше всю дорогу я не пытался с ним заговорить.

А дорога была дальняя: через все село, через все наши липяговские поля, к самому что ни есть Ясновому. Это теперь, на машине, оно кажется, будто близко. А на телеге-то тряслись долго. Кочки проехали, потом в гору поднялись. Села кругом видны. Куликовский столб вдали… Все мне вновь, все интересно…

Ну, доехали. Отыскали Ефремкин надел. Полоска была узенькая, одним концом упиралась в ясновскую дорогу, а другим выходила к самому бугру над рудником, к Денежному. Земля давно не пахана, не удобрена. Куда ни глянь – тощенький хвощ и реденькие кустики осота. Тишина. Простор. Мне понравилось тут, хотя и в ту пору я уже слышал всякие истории про Денежный.

Дед распряг кобылку, стреножил ее и отпустил на все четыре стороны. Потом велел мне взять жбан, и мы пошли к роднику. Спускаясь под гору в лог, дед все время что-то мурлыкал себе под нос. Подойдя к колодцу, он сначала отвесил поклон часовенке. Присев на колени, открыл крышку над колодцем, набрал воды в жбан. Он отпил несколько глотков, дал и мне попить. А потом и говорит: «Ну, иди!» А сам остался. Поднимаясь в гору, я незаметно наблюдал за дедом. Оставшись один, дед осмотрелся, опасаясь, видно, как бы кто не увидел его, и начал «обнюхивать» Денежный. Как лиса мышкует, так и он. Каждую канавку, каждый дубовый кустик осматривал. Бугорок попался – он его ногой; поковыряет-поковыряет, потом нагнется и примется разгребать землю руками. Весь день дед вел себя как-то странно. То запряжет кобылку и примется пахать, то вдруг бросит соху на полборозде и побежит опять к логу. До вечера куска хлеба в рот не брал.

Наконец наступила ночь. Дед постлал под повозкой полушубок, уложил меня. А сам взял с телеги лом, лопату – и к Денежному…

– Ох уж эти мужики! – вздохнула Лукерья. – Все бы им легкой наживы!..

– Обожди, Лукерья! – перебил старушечьи вздохи Авданя: крестному не терпелось дослушать мой рассказ.

– Ребята, они ведь какой народ? Любопытный, – продолжал я. – Едва дед скрылся, я выбрался из-под телеги – и к логу. Вижу, внизу перед часовенкой стоит на коленях дед и кладет земные поклоны Богородице. Он за стол садился не крестясь, а тут перед часовней лоб о землю бьет! Видать, очень уж хотелось ему вымолить клад. Вот он встал, полез вверх, на бугор. Отошел сажен пять-десять от родника, перекрестился и принялся копать землю. Земля тут на горе суглинистая, тяжелая. Дед расковырял ломом дернину и давай орудовать лопатой. Старик он был крепкий. Очень скоро выкопал яму чуть ли не в рост. Из-за выброшенной земли его совсем не видно, только мелькала лопата и слышались глухие удары ее лезвия о стенки ямы… Ночь была темная, безлунная. Мне жутко стало. А что, если сейчас явится какая-нибудь ведьма или прилетит огненноклювая птица?! Хотелось плакать. Побежал было к яме, но вернулся. Я знал: дед был суров. У него за столом лишний раз не повернешься – так ударит ложкой, что неделю будешь ходить с синяком на лбу. Мешать ему я не решился. Дрожа от страха, вернулся к телеге, забился с головой в полушубок и вскоре заснул.

Проснулся я от топота. Кто-то бежал из лога. Выглянул из-под телеги – вижу: дед. Без лопаты, волосы дыбом. Растреножил кобылку, запряг; меня вместе с полушубком уложил в телегу – и ну погонять! Даже соху впопыхах позабыл. Я с испугу заплакал. Дед на меня никакого внимания! Знай свое – погоняет кобылку и все крестится, и все твердит: «Прости, Богородица! Заступись, Святая Дева!» Громыхает, подпрыгивает телега. Окрест на десять верст слышно. Дорога тогда шла левее, почти по-над логом. Стали мы спускаться в Кочки; уже и светать будто начало… Вижу, навстречу человек с лопатой: «Дядя Андрей, подвези!» Поравнялся с нами, признали его. Это Прохор Рябой. Дед придержал лошадь. Тот сел. И как только сел в телегу, так сразу же перекрестился и говорит: «Крестная сила с нами! Копал я у Денежного, глубоченную яму выкопал. Уж что-то звенело там, под ногами. Вдруг слышу, как кто-то рядом чхнул. Прислушался – тук, тук! Затаился, слышу: кто-то стучит из земли. Я креститься, думал, почудилось. Ан нет, не перестает. Такая меня оторопь взяла. Схватил я лопату, и почем ноги держат!..»

«Так, значит, это ты стучал?» – спросил дед.

«Нет, я копал… – отозвался Прохор. – Стучал кто-то рядом…»

Дед ничего не ответил. Знаю только, что больше он уже никогда не искал клада. Вскоре начались разговоры про «коммунию», стало не до этого.

6

– Эх, мужики, мужики! – сокрушенно проговорил Назарка. – В одиночку копались! Оно понятно – единоличники! Теперь иное дело. Надо взяться колхозом и расковырять весь лог. Небось быстро нашли бы!

– И что ты с этим кладом бы сделал? – спросил я.

– С золотом? Ха! Золоту всегда найдется место. – Назарка вылизал ложку и отставил миску на брезент, разостланный на траве вместо скатерти.

– Чужим добром не будешь богат, – сказала Лукерья. – Сколько в старину бывало всяких любителей разбогатеть за чужой счет. И конокрады были, и взломщики, и воры – купцов грабили… А бедность так и оставалась. Разбогатеть можно только трудом.

Назарка свистнул.

– Эвон! Куда махнула, тетя Луша! – сказал он. – Я ведь говорил, чтобы найти клад и обратить его на пользу всех, колхоза то есть. Построить новые фермы, тракторов, машин разных накупить.

– И к колхозу это относится! – поддержал я бабку Лукерью.

И незаметно, слово за слово, повел разговор на тему задуманной беседы.

Все слушают меня, не перебивая.

– А ведь верно! – говорит наконец Авданя. – Про богатство-то! Вот, помню, был у нас в председателях Тишка-огородник. Ух, как он мечтал, чтоб колхоз разбогател! Из кожи лез. Распахал он все луга – луком, морквой засеял. А ходить за огородом некому. Так все и позаросло травой. Тогда он стал лес колхозный продавать на сторону. Вали, круши – лишь бы деньги были. И что ж? Лес срубили, но и денег никто не видал.

– У нас и повыше Тишки были шишки! – отозвалась от костра Лукерья. – Хоть тот же Парамонов. Тоже учил, как работать. Если, мол, одну и ту же корову поставить на весы трижды, то и мяса втрое станет больше. Ан что же вышло? Худо вышло…

Во время этого разговора из темноты появилась Вера. Она была с полотенцем на плече, с распущенными волосами. Короткий сарафан, мокрый от росы, прилип к ее ладным, округлым бедрам. Она, видно, не ожидала, что у костра так много народа. Застеснявшись, девушка попросила у Лукерьи ужин и сторонкой-сторонкой прошла к стожку, возле которого мы сидели. Прислонилась к стожку и стала есть.

– Ты где пропадала, Вер? – спросил я ее.

– А купалась…

– Вот и явилась твоя русалка, Назар, – сказал Авданя, толкнув Назарку в бок.

Назарка ничего не ответил, встал, потянулся и, пройдя к костру, стал ворошить его палкой. Вверх, в темноту, летели искры. Костер догорал. Звездный полог, распростертый над нами, обозначился ярче, зримее; черные увалы горбатых склонов, закрытые кое-где туманной дымкой, как бы отодвинулись, отошли вдаль. Зато явственнее стали проступать звуки – ранее глухие, убаюкивающие, они стали вдруг осязаемо близкими, тревожными. Неподалеку от луга, во ржи, призывно кричал перепел: «Спать пора! Спать пора!» Над самым увалом Денежного в низкорослых дубках талдычил коростель: «Дыр-дыр! Дыр-дыр!»

Вдруг Назарка отвернулся от костра и, остановившись перед прицепщиком, сказал:

– Пошли, Слива!

– Это куда? – лениво отозвался подросток.

– Не хотят всем миром – мы вдвоем с тобой отроем клад! Поставим к трактору лопату, весь Денежный за ночь перевернем вверх потрохами!

Слива зевнул, потянулся. Видно по всему, никуда идти ему не хотелось.

– Оставь ты парня в покое! – заворчала Лукерья. – Ищи один, если тебе лихоманка приспичила. Иль не слыхал, сколькие мужики до тебя искали?!

– Тетя Луша! Мы же на новом этапе, так сказать. Применяя передовую технику, – шутил Назарка.

– Узнает председатель, он тебе задаст «технику»! Будешь помнить, как обчественное горючее понапрасну жечь. И не думай рыться! Слышь?

– Тетя Луша, я персонально Сливу спрашиваю.

– Ребенок ить! Вторую ночь глаз не смыкает. А ты! У-у, непутевый!..

Слива – внук тети Луши. Один из многих внуков. Добрейшая она, тетя Луша. Ее дом всегда полон своих и чужих.

– Наломался я что-то, Назарка… – Слива даже не поднялся.

– Ясно, струсил! Испугался огненных колесниц. Гудбай!

Назарка исчез в темноте. Света проводила его встревоженным взглядом. Мне даже показалось, что она с трудом удержалась, чтобы не вскочить и не побежать за ним следом. Постеснялась, видимо. Я бросил мельком взгляд на Веру. Когда Назарка исчез, она тотчас же отставила миску и задумалась. Потом, не доев кашу, как-то расслабленно, лениво поднялась и, взяв миску, пошла к роднику. У источника тетя Луша мыла посуду.

Вера принялась помогать ей.

7

Где-то за спиной заурчал трактор. Я посмотрел туда. Свет фар освещал пологий скат лога; от низкорослых дубков и кустов шиповника ложились длинные тени. Трактор поурчал-поурчал и исчез за перекатом Денежного. Напуганные шумом мотора, перепела на время приумолкли. Но как только урчание приутихло, они снова взялись за свое: «Спать пора! Спать пора!»

Однако спать не хотелось. Девушки, примяв копешку сена, разлеглись на душистой подстилке и потихоньку, вполголоса, пели песни. Пели про рябину, про калину, про нескладную женскую судьбу. Косцы, намаявшись, сидели у телеги, покуривали.

Росисто, свежо на земле, и звездно и торжественно в небе. И тихо, и трактор урчит вдали, и перекличка перепелов, и грустная и тягучая, как наши российские дали, песня; и сквозь все это, как дрема, как виденный когда-то мираж, вспоминается далекое-далекое прошлое…

Вот был хан Мамай… Обманом, уговорами, обещанием богатой добычи и иной, счастливой жизни он поднял свой народ. И ринулись на Россию татары; рыскали по деревням и весям; грабили, жгли, насильничали… Казалось, не было такой силы, что сломила бы супостата. Но прошли годы, столетия, и вот тут, в этих балках, растаяла Мамаева орда. И стоит теперь неподалеку отсюда, на Куликовом поле, черный чугунный обелиск, увенчанный православным крестом, ниспровергнувшим магометанский серп. Стоит он посреди жесткого, никогда не паханного поля, изрытого сусликами, а вокруг как ни в чем не бывало цветет гречиха и высится выше человеческого роста зеленолистая кукуруза.

Давным-давно нет Мамая, и остались только в народе легенды о татарских кладах; и вот сквозь перекличку перепелов слышишь урчание трактора: то Назарка ищет заветный клад…

– Послушала, растеребила старое… и думаю: до чего ж в старину темный был наш мужик! – заговорила Лукерья, расставляя вымытые миски на ящик, покрытый клеенкой. – Клады искали… Будто в кладе людское счастье.

– А в чем же счастье, тетя Луша? – спросила Светлана Коноплина.

Лукерья не спешила с ответом. Накрыла миски полотенцем, вытерла руки о фартук и, переваливаясь с боку на бок грузным телом, подошла к девушкам.

– Подвиньтесь-ка! – Она шумно привалилась широкой спиной к стожку.

– Тетя Луш, тетя Луш… Ну расскажи! – приставала Света.

– Эка! Да откуда я знаю, в чем оно, счастье-то?

– Ну уж! Прожила жизнь и не знаешь!

Девушки – недавние мои ученицы. Они окончили школу два-три года назад. Некоторым из них я втайне пророчил большое будущее. Вообще мы, учителя, чем-то схожи с матерями. Смотришь часто на быстроглазых малышей, и кажется тебе, что все они в будущем непременно станут Ньютонами. Ньютона мы, физики, считаем самым счастливым человеком. Очень хорошо сказал о нем Лагранж: «Он самый счастливый. Систему мира можно установить только один раз».

Каждому своему ученику я втайне пророчу счастье Ньютона… Та же Света, к примеру. Девушка одаренная – это для меня бесспорно. Она удивительно быстро все схватывает, умеет анализировать. У нее недюжинный математический талант. Мне казалось, что Света непременно должна продолжать образование: поступить в институт, стать научным сотрудником, учителем. Однако, окончив школу, Света не захотела учиться дальше – пошла работать. Она устроилась на железнодорожной станции аппаратчицей телеграфа.

Большинство молодежи так поступает: окончит школу – и на станцию или на шахты. Никто в колхозе не остается. И только в уборку или в сенокос приходят на «помочь».

Так и теперь было: уговорил Иван Степанович, и они пришли.

Наблюдая, как оживились девушки, едва Лукерья заговорила о счастье, я подумал о том, что в школе мы очень мало говорим с учениками о смысле жизни, о счастье. Мы требуем знаний. Я объясняю, когда жил Джордано Бруно и какое значение его работы имели для развития астрономии и физики, историк непременно требует назубок знать все походы Александра Македонского. Математик, само собой, долбит задачки… И никто из нас, учителей, не поведет на уроке речь о том, чем счастлив был Бруно, сгоревший на костре, и почему страшился всего Македонский, владевший чуть ли не половиной мира.

Да что там на уроке! Даже теперь я, агитатор, рассказывая людям про коммунизм, ни словом не обмолвился о счастье. Я напирал все время на то, что коммунизм – это равенство, что это изобилие, что это расцвет науки и культуры и т. д. А будут ли люди счастливы и как они будут счастливы – та же Света, тот же Назарка, – об этом я не сказал ни слова.

А как, оказывается, это их волнует!..

8

– Во-на! – помолчав, заговорила Лукерья. – Чего вы захотели! Чтобы я сказала вам, какое оно, счастье! Если б я знала, для себя бы припрятала.

– Тетя Луша, а разве ты не считаешь себя счастливой?

– Да как вам, девки, сказать? На свою жизнь не обижаюсь, хоть клада никакого и не находила… – Тетя Луша усмехнулась и продолжала: – В старину за счастье богатство принимали. Выйдет какая-нибудь баба за богатого мужика. Все завидуют: Арина, мол, счастлива! А смотришь на нее – сохнет девка… Да… Бывало, каждый старался урвать, разбогатеть. Обманом или еще как. Купцы там, помещики разные… Ну, мужик, известно, на клад надеялся. Думал, найдет клад – справит новый дом, лошадок каких получше заведет, землицы прикупит. Вот почему и копался каждый тут, в Денежном. В одиночку норовили, ночами. Пугали друг друга насмерть. Одни рядом копались, другие в поисках счастья ходили за тридевять земель. Вон хоть старик Санаев…

– Дед Савватий-то? – отозвался я. – Сосед наш. Как же! Бородатый такой старик был… Соберет, бывало, нас, ребят, начнет рассказывать про всякие земли…

– Так вот, этот Савватий, – продолжала Лукерья, – ходил в дальние земли, искал страну Беловодье. Это будто страна такая, где текут белые молочные реки, где вечно весна и птицы райские поют, где люди ничего не делают – все у них и без того есть: ешь, надевай что хочешь.

– Ну и что ж, нашел? – Вера, сидевшая в сторонке, зябко повела плечами, подсела поближе к подружкам.

– А то как же! Долго, говорит, ходил только: и в Киргиз-кайсацком крае был, и в Китае… Пока он ходил, искал, много воды утекло. А тем временем в этом Беловодье беда случилась. Речка их самая главная, в которой молоко текло, плотину-то и сорвала. Ерунда, небольшая еще брешь была. Людям бы взять в руки лопаты и дружно заделать ее. Но люди в той стране обленились настолько, что никто из них не хотел работать. Зачем им работать, когда все, что надо, вокруг лежит! Бери сколько хочешь! Речка размыла плотину, молоко-то все и утекло в пустыню.

– Савватий, значит, опоздал?

– Он так сказывал. Вернулся он из этой самой страны худющий-прехудющий. От зипуна одни рукава остались. Слепил себе землянку на самом конце порядка, да и доживал спокойно свой век. Наберет зимой кусочков, насушит сухарей, а все лето пташек разных ловит да продает их на ярмарках.

– Соловьев, что ль? – допытывалась Вера.

– Не одних соловьев – и дроздов, снегирей. Но он торговал ими не из-за денег, а так – интересно было ему шататься по всяким ярмаркам. Сейчас, я замечаю, народ не ходит. А

бывало, и зимой, и летом идут и идут. Разутые, раздетые, в чирьях все – ужасть! Один ходил на «вольную» – так тогда целина называлась. Другой по святым местам шлялся: счастье у Бога вымаливал. И идут, и идут. В лаптях; есть какая самотканая рубаха, и та с плеч сползала. Нальешь ему в чашку тюри, а он сидит за столом да только плечами подергивает – вши заели. И вот что скажу: каждый норовил в одиночку идти. Авось мне подвезет! Сосед ходил – ни с чем вернулся, а я вымолю у Бога счастье свое.

Лукерья замолкла.

Костер почти совсем погас. Светлана подбросила на угли сухого сена. Сизоватый дым приник к росистой траве. Но вот вспыхнуло пламя, и на миг из темноты возникли стожки сена, разбросанные по лугу, правильные рядки свежескошенной травы, казавшиеся сейчас черными.

Мужики, накурившись, дремали.

Коростель дернул раз-другой и затих.

Слышно было только урчанье трактора на самом взгорке у Денежного.

– А Назарка все ищет… – сказала Вера.

– Ить молод, пусть ищет! – в тон ей отозвалась тетя Луша.

– И не боится один-то! – обронила Света.

Никто ничего не ответил. Девушки начали укладываться спать. У каждой из них был узелок с одеялом; они разбирали эти узелки – одно одеяло подстилали, другим укрывались. Укладывались так, как ребята в ночном – рядышком. Жались ближе друг к дружке – так теплее спать. Дольше всех возилась Света Коноплина. Она затеяла перед сном расчесывать волосы, и пока возилась с ними, все улеглись.

Света устроилась с краешка, возле тети Луши. Лукерья, прежде чем улечься, долго что-то суетилась, вздыхала, и, уже засыпая, я все еще слышал ее голос.

– А счастья-то в одиночку нет… Нет, девоньки! Ведь где-нибудь в заграницах людей нарочно разъединяют… садиком да огородиком, а то и, глядишь, машиной. Живи, мол, обогащайся! Счастлив будешь. А я вот, скажу вам по чести, дома, для себя, готовить не очень люблю, а для всех – иное дело…

Костер погас, лишь тлели угли, бросая красноватые блики на росистую траву, на зеленые кусты осоки, теснившиеся вдоль ручья.

Прикрывшись полушубком, я долго лежал, не засыпая, смотрел на звезды, на черные увалы лога и думал сразу обо всем – и о прошлом, и о звездах, и о будущем.

Вот кто-то всхрапнул рядом со мной, у мужиков; еще спустя минуту-другую затихло все. Звездный мир, слитый с землей, померк в ночной дреме.

9

Я проснулся от холода. Луна светила прямо в лицо. Небо словно выцвело – стало белесым, и звезды на нем едва различимы. Было по-прежнему росисто, но туман уже начинал понемногу редеть.

Я поднялся. Спросонья прохватила дрожь. Достав полотенце, прошел к ручью, умылся. Вернувшись к телеге, возле которой спали косцы, бросил полотенце, закурил.

Заря уже обложила весь край неба на востоке. Птахи неистово гомонили. В их гомоне чего-то будто не хватало. Я не сразу вспомнил, чего именно. Потом догадался: не хватало урчанья Назаркина трактора. «В самом ли деле Назарка искал клад или шутил?» – подумал я, и мне захотелось заглянуть к нему.

Покурив, я направился к трактору.

Пологие скаты лога испятнали фиолетовые островки цветущей кашки. Мохнатые соцветия ее, словно перламутровые пуговицы, белы от влаги. Наступишь на них – и тотчас же легкие росинки тумана слетают, и на лугу остается зеленый след от сапог. Чем выше я поднимался,

тем дальше мне становилось видно. Налево, до самого горизонта, стояли поспевающие хлеба. Направо, вдоль дороги на Ясновое, выстроились остроконечные побеги кукурузы. На нежно-матовом разливе восхода стебли растений казались гуще, чем днем. Рядки их с ровными промежутками напоминали чем-то пики воинов, стоящих в строю…

Чем ближе к перевалу, тем бледнее растительность. Вот под ногами зашуршал жесткий чабрец; бесцветные листочки его были сухи и безжизненны, словно вырезанные из бумаги. На каждом шагу то тут, то там виднелись завалившиеся ямы, заросшие полынцой и репейником. Это места, где когда-то липяговцы искали клад. По краям оврагов и промоин кудрявились низкорослые дубки, рос колючий шиповник. Его цветы пожухли от зноя. Опавшие лепестки белели под кустами, как будто ветром намело сюда снежинки.

Неожиданно я увидел неподалеку трактор. Он стоял на самом взгорке, где спуск к логу не так обрывист. Трактор был новый, с пневматикой. Здесь, на лугу, им копнили сено. Спереди к нему монтировался сенокопнитель; он захватывал сразу всю копешку, волочил ее и укладывал в стог. Сейчас на тракторе вместо сенокопнителя приделан был ковш. Шустро работал Назарка: вон какую ямищу отрыл за ночь!

Я хотел пробраться к траншее, но мокрая глина липла к сапогам. Пришлось подняться еще выше на взгорок. Назарки в кабинке не было. Я обошел яму. И тут вдруг заметил, что под кустом, в сторонке, что-то будто чернеет. Подошел.

Под дубком, подостлав свежескошенной травы, спали Назарка и Света.

Светлана спала, как спят дети. Она лежала на боку; правая рука ее подложена под голову, левая – придерживала ватник, которым укрыл подругу Назарка. Лицо ее было спокойно и вместе с тем радостно – той особой светлой радостью, с которой засыпают только в юности.

Назарка, распластавшись на спине, лежал рядом. Ворот клетчатой рубахи расстегнут; испачканные мазутом руки разбросаны в стороны. Даже и во сне он улыбался чему-то.

«А Назарка нашел-таки свой клад!» – подумал я с усмешкой. И вдруг почувствовал, как по спине пробежал озноб. Я с трудом удержался, чтобы не закричать от радости. В их изголовье, в тени дубка, валялось черное сиденье из кабинки трактора. На дерматиновой обивке аккуратно, один к одному, расставлены были какие-то странные вещи. Сначала я принял их было за бесформенные комья глины, но приглядевшись, понял, что предметы эти извлечены Назаркой из земли.

Осторожно, стараясь не потревожить сон Назарки и Светы, я раздвинул куст и взял один из этих предметов в руки. Это оказалось старинное оружие наших предков – алебарда, вернее, не вся алебарда, а сама секира. Лезвие ее было изъедено временем, а нижняя часть с отверстием для древка сохранилась довольно хорошо.

«Нашел-таки! Молодец, Назарка!»

Мне не терпелось рассказать об этом всем. Я поспешил вниз, к роднику. Сначала шел шагом, раздвигая кусты руками, потом побежал. Кусты шиповника царапали руки, цеплялись за одежду, но я даже не чувствовал этого.

Еще издали я заметил, что наш цыганский табор у родника уже пробуждается. Возле телеги стоял Авданя и, посмеиваясь, что-то рассказывал тете Луше, хлопотавшей возле чугунков.

У источника умывались девчата. Я подбежал к ним и сразу же выпалил насчет клада. Девушки окружили меня. Я показал им кусок металла, облепленный со всех сторон желтой глиной. Девчата тотчас завладели им и, вырывая друг у дружки из рук, начали счищать с него глину. Подошли Авданя и тетя Луша.

Авданя, вдруг посерьезневший, стал вертеть алебарду в руках и все качал головой. Тетя Луша вздыхала. Ей не верилось, что эта железка пролежала столько лет под землей и не «сопрела».

Кто-то из девушек предложил обмыть находку в ручье, чтобы не было на ней глины, но в это время Вера вспомнила про Назарку.

– Девчата! Что же это мы? Айда поздравим Назарку! – сказала она.

Я стал уговаривать ее, чтоб она туда не ходила. Но разве девчат удержишь?

Вера первой бросилась вверх, к Денежному.

Она была длинноногая, эта Вера, и крепкая; за нею не так-то легко угнаться. Девчата, побежавшие следом, взбирались на перевал цепочкой.

Вера была уже на самом горбу лога, как вдруг остановилась, обвела взглядом бегущих за нею девушек – Светланы среди них не было.

Вера как-то вмиг сникла, даже будто меньше ростом стала; постояв на перевале, она медленно пошла обратно вниз, навстречу все еще продолжавшим карабкаться вверх подругам.

– Веруха! Ты чего?

Вера молча пожала плечами, сорвала на ходу былинку кашки и, покусывая ее, сказала, сдерживая слезы:

– Подумаешь, железку какую-то нашел. Вот если бы он золото настоящее открыл…

И она пошла вниз. Девчата постояли, подумали и, не согласившись, по-видимому, с Верой, снова побежали вперед – все выше и выше.

Когда Вера вернулась к костру, к ней подошла Лукерья. Старуха молча обняла ее и, увидев, что я наблюдаю за ними, ворчливо, с напускным недовольством сказала:

– Ишь, железку нашел! Добра этого сколь хочешь в нашей земле! Прошлой весной я у себя на огороде мину немецкую откопала. И то ничего! Небось, как помню себя, люди только тем и занимаются, что рожают ребят и воюют. И уж будто учили всех, а они все не унимаются. Мало, видать, им земного счастья… Нашел?! Железку нашел. Побежали. Чтоб им!..

Дом отца Александра

1

– Тише, ребята! Смотрите сюда. Мы берем воду и наливаем ее в сосуд. Вода принимает форму того сосуда, в который мы ее наливаем…

Я беру кружку, зачерпываю из ведерка воду и наполняю стоящие на столе колбы: шарообразную, с узким горлышком, и совсем крохотную, в виде пингвина – с причудливыми крылышками и широкими лапками.

Физический кабинет мой оборудован неважно. Приборов мало. Всякий раз, бывая в городе, я стараюсь приобрести что-нибудь новое, занимательное.

Колба в виде пингвина и была такой новинкой. Я нарочно приберег ее к уроку на тему «Физические свойства воды». Обычно всякие такие занимательные вещицы очень нравятся ребятам. Они внимательно слушают и, следовательно, лучше усваивают материал.

Но сегодня и пингвин не помогает. Ребята возбуждены, слушают плохо: одни посматривают в окна, другие шушукаются. Я делаю вид, что не замечаю их нервозности. Стараюсь заинтересовать учеников, рассказываю им об опытах Паскаля, об устройстве гидравлических прессов.

Сегодня по плану только вводная часть темы. Со временем на уроках химии ребята узнают и о других свойствах воды – о том, что вода состоит из водорода и кислорода, о том, что в каждой капле обыкновенной воды есть соединения тяжелого изотопа водорода (дейтерия) с кислородом, или, говоря другими словами, тяжелая вода. Достаточно присутствия нескольких граммов тяжелой воды в организме человека, и человек умирает…

Нет, нет! Об этом сегодня ни слова. Им еще многое предстоит узнать – и о жизни, и о смерти, о водороде и водородной бомбе… А пока я говорю о самом элементарном: о сообщающихся сосудах, о принципе устройства водяных и масляных прессов.

Ученики на некоторое время затихают. Но вот в тишине я слышу вдруг шепот: «Несут… несут…»

Димка Карташев, вертлявый, вечно вымазанный чернилами подросток, вскакивает из-за парты и бежит к окну. За ним срываются и остальные.

Я понимаю, что кричать на ребят бесполезно. Ничего не поделаешь! Я тоже подхожу к окну.

Перед школой палисадник. За голыми кустами акации видна черная людская толпа: мужчины с непокрытыми головами, женщины в черных платках. Над толпой, покачиваясь, плывут два обитых кумачом гроба.

Ребята сгрудились у окон. Кто-то шмыгает носом. Оглядываюсь. У задней парты, в углу, отвернувшись от окна, стоит Генка Лобанов, белобрысый забитый пацан с веснушками на лице. Плечи его вздрагивают, когда он всхлипывает. Глаза полны слез, как копытца осенью – их залило водой, и вода в них дрожит и поблескивает.

На улице заиграл духовой оркестр. И в тот же миг, заглушая траурную мелодию, в коридоре раздался топот ног.

– Айда, ребята! Хоронят с музыкой!

Топот и этот призывный крик явились как бы сигналом. Захлопали двери других классов, и затопало еще десятка три ног. Не успел я что-нибудь сказать, как все, словно по команде, отпрянули от окон; распахнулась дверь – и моих учеников как ветром выдуло из класса.

2

Есть люди, которые любят бродить по кладбищу, читать надписи на надгробных плитах, рассматривать памятники. Такие люди всегда кажутся мне несколько странными; я их не понимаю, даже более того – побаиваюсь. До недавнего времени я наблюдал их только со стороны. Но вот год назад к нам приехала новая учительница – «англичанка». После войны все стали изучать английский язык. Наш директор решил, что и Липяги не должны отставать от веяний эпохи: пригласил «англичанку». Приехала милая такая девушка: тонкая, хрупкая, ноготки и губки накрашены, волосы пострижены коротко, – одним словом, вполне современная девица.

Не хочу называть ее фамилии, скажу только, что звали ее Лидой. При первом же нашем знакомстве, в учительской, она сказала мне:

– Я слышала, будто вы сочиняете историю села. Это очень интересно!

Я пожал плечами и ради первого знакомства объяснил ей, что никакой «истории» не пишу, а так, записываю кое-что для себя.

– Ну, все равно! – продолжала она. – Я хотела, чтобы вы в своей истории записали, что мне ваше село очень понравилось. То есть не село, а сельское кладбище… Вы любите кладбище?

У меня мурашки пошли по телу. Думаю, я даже с лица переменился.

– Вижу, что нет, не любите. – Лида снисходительно улыбнулась. – А я люблю. В первый же день, как приехала в Липяги, скука одолела ужасная. Вы поймете меня: я училась в Москве. А тут избенки, крытые соломой, керосиновая лампа… Отправилась я на кладбище. И поверите: как только увидала ваше кладбище, так мне лучше стало. Видно по всему: тут, в Липягах, уважают своих предков. Кладбище, как парк, в зелени, огорожено. А то вот прошлым летом мы приехали с матерью к ней на родину, на Тамбовщину, так у них кладбище совсем запущенное.

Меня просто покоробило от всего этого. Хотя Лида была права: во всех соседних с Липягами деревнях кладбища неприглядные. Ни заборчика, ни деревца – унылая, голая, изрытая ямами пустошь… Не знаю, не помню сейчас, что я тогда ответил, но думаю, что она поняла: разговор этот мне неприятен. Будучи девицей интеллигентной и сообразительной, Лида извинилась передо мной и побежала на урок.

Это у меня, наверное, с фронта, – не могу ни говорить о похоронах, ни видеть покойников. Стольких друзей похоронил в войну, что теперь, как увижу похоронную процессию, неделю хожу сам не свой.

И на этот раз я ни за что не пошел бы. Но нельзя. Все село шло в похоронной процессии, от мала до велика.

Два последних дня в Липягах никто не работал. Небывалый случай встревожил все село.

Липяги за свою историю многое видывали. Случались пожары, когда за одну ночь сгорало полдеревни, бывали драки и убийства, но такого страшного случая старики не упомнят.

Два дня назад Липяги облетела весть: убиты колхозные сторожа Кузьма Лукин и Степан Горбань. Их трупы первым обнаружил бухгалтер. Придя утром в правление, он вошел в сенцы и тут же, выбежав на улицу, заорал: «Украли! Деньги украли!» Бухгалтер не закричал даже о том, что людей убили. Он сразу же подумал о деньгах.

Многим показалось это странным. Но я вполне понимаю бухгалтера. За все время существования колхоза у него никогда не было разом столько денег. На счету, может, и были, а наличными, в сумке – никогда.

Надо вам сказать, что колхоз наш не из видных в округе. Бедный колхоз. Но после того как к нам пришел тридцатитысячник Иван Степанович Гришаев, дела у нас пошли на поправку. Не очень шибко, но все-таки.

Этой осенью не только хлеба вдоволь дали, но и денег по два рубля на трудодень пришлось.

Натурой – хлеб, картошку, капусту и другие там овощи – и раньше, случалось, выдавали. Но деньги… деньги наши мужики получали впервые… Представьте себе, сколько надежд и радостей было связано с предстоящей получкой!

И вдруг эти деньги украли. Все, до единой копейки.

3

Мешок с деньгами привезли в понедельник. Как у нас заведено, деньги в Госбанке быстро не получишь. Пока получали да пока везли, завечерело. А народ ждал весь день, особенно мужики. Им хотелось «обмыть» получку.

Липяговцы не то, что, скажем, хворостянские мужики, которые известны в округе как отъявленные пьяницы, но при случае наши тоже не дураки выпить. Выпить, спеть песню, покуражиться, чтобы все видели, – на это они мастаки. Мужики уговорили председателя, чтобы, несмотря на позднее время, деньги выдавали. Иван Степанович сказал кассирше:

– Выдайте, сколько успеете, а остальные раздадим завтра.

Кассирша выдавала бы всю ночь, но дома у нее маленькие ребята и корова не доена.

Она выдала деньги самым горластым мужикам, а бабенкам сказала, чтоб приходили завтра утром. Бабы, как всегда, пошумели-пошумели и разошлись. Кассирша бросила сумку с деньгами в несгораемый ящик, прилепила сургучную печать и побежала домой. Бухгалтер Никодимыч, бывший тут, забеспокоился. Так называемый сейф был старенький, квелый, склеенный кое-как электросваркой из миллиметрового железа. В нем хранились бланки расчетных книжек, отчетные ведомости, подушечки для штампов. Даже печать сюда не клали: председатель носил ее с собой в мешочке. А тем более деньги! Да еще такие большие деньги! Разве в таком сейфике их хранить?!

К тому же правленческий сторож Кузьма Лукин приставлен скорее для острастки. Сторож из него никудышный.

Кузю пристроили в сторожа из жалости. Это был тихий, немощный мужичишко, который за всю свою жизнь и мухи-то не обидел. До войны Кузьма работал колхозным конюхом. Лошадей любил, любил какой-то трогательной любовью. Ухаживал за ними, как за детьми. Он и ночевал на конюшне. В войну Кузя получил контузию; когда вернулся из госпиталя, у него тряслась правая рука, и он с трудом ходил. Ни к какой работе совсем стал неспособен. А семья большая: уйма ребят, жена, мать-старуха.

Подумали-подумали: куда бы его определить? И поставили сторожем в правлении. Все равно охранять тут нечего, пусть посидит ночь у телефона: а ну как из района начальство позвонит?

Председателю-то невдомек, а бухгалтер забеспокоился. Никодимыч настоял, чтобы в помощь Кузе хоть на одну ночь был выделен второй сторож. Когда об этом сказали Ивану Степановичу, он усмехнулся. «Эка, какие деньги-то! – сказал он. – К тому же времена нынче другие. Капиталы людям не нужны». А все-таки послал за своим другом Степаном Горбанем. Степан – железнодорожник. У нас много таких – живут в Липягах, а служат на «железке». Степан недавно ушел на пенсию. Делать ему нечего, и он уважил председателя.

Горбань согласился посидеть ночку вместе с Кузей.

Наутро их обоих нашли убитыми…

4

Вместе с другими учителями я подошел к процессии. У правления толпа остановилась. Началась гражданская панихида.

На крыльцо дома поднялся Иван Степанович – в железнодорожной шинели, в сапогах. Лицо у председателя небритое, осунувшееся. Кто-то еще взошел и стал рядом с ним. Минуту-другую продолжалась сутолока. Гробы подняли на постамент, наспех сколоченный перед крыльцом.

Люди кольцом обложили площадь перед правлением. Я не подходил туда близко. Слишком тяжело все это. Встал в сторонке и наблюдал.

Мужики в залатанных телогрейках, бабы в теплых «казачках» и черных шалях. Меж взрослых, стараясь пробраться как можно ближе к крыльцу, сновали малыши, самый пронырливый и самый любознательный народ.

Бабы перешептывались.

– Слышь, сватья, Никодимыча и Лизку-кассиршу посадили.

– Да ну?

– Их подозревают.

– Да куда ему, Никодимычу! Он куренку голову боится отрубить. Дарья всегда по соседям ходит. А тут – люди.

– И-и, всяко бывает.

– Тш-ш!..

Глухо, срывающимся голосом заговорил председатель. Он говорил обычные в таких случаях слова: что сегодня-де мы провожаем в последний путь двух честных тружеников, погибших на посту, защищая общественную собственность… Иван Степанович, видно, простыл, он то и дело кашлял, доставал из кармана шинели носовой платок, утирался. На собраниях Иван Степанович говорил куда лучше, складнее. Но даже и эти его обычные слова брали за сердце.

Бабы вытирали слезы.

Смотрел я на председателя и думал, что нелегко ему, наверное. Иван Степанович уже немолод, всю свою жизнь проработал на транспорте. Начал путевым обходчиком, а стал инженером, заместителем начальника отделения дороги. Не знаю, сам ли он напросился к нам в председатели или на него поднажали в райкоме, но за дело он взялся, как говорится, с огоньком. Не всякий решился бы взвалить на себя такой воз. А он не побоялся. Пришел тихий такой, походил недельку-другую по домам, поговорил с мужиками – и ну, и ну! Как дядя Авданя говорит: «Вытащил нашу калошу из грязи. Теперь ее кому угодно можно показать, не стыдно». И все-таки грязь осталась. Разве не о том свидетельствовало это бессмысленное и жестокое убийство?

Иван Степанович окончил свою короткую речь. Минуту длилось молчание, решали, кому говорить.

Было неуютно, зябко. Сырая затяжная осень сменилась первым зазимком. От неподвижности захолодали ноги. Я углубился в толпу – казалось, тут, среди народа, теплее. Впереди меня стояли две бабы и переговаривались. По голосу я узнал Лукерью Худову и нашу соседку, доярку Татьяну Хапрову, или, по-уличному, Таню Вилялу.

– Слышь, Лукерьюшка! Сумку-то нашли… – говорила Татьяна.

– И-и, не ври!

– Ей-бо! Пошли мужики на погост могилу рыть. А она, сумка-то, и лежит в лопухах.

– Без денег?

– Во-на! Оставят тебе денег! Ищи-свищи. Наши трудовые. Все до последней копеечки погорели! Всем колхозом год работали, а какой-то идол за одну ночь разбогател.

– И-и, Татьяна! Не будет тому счастья от наших денег, – сказала Лукерья.

– Не будет, говоришь? Всю жизню теперь человек может палец о палец не ударять!

– Разве в том счастье, Татьяна! А этих-то найдут! Не может быть, чтобы не поймали.

– Никодимыча взяли.

– Да куда ему!

– Тш-ш, дай послухать, Игнат говорит…

Говорил Игнат Старобин, бригадир первой бригады. Потрепанный треух с кожаным верхом он заграбастал своей заскорузлой ладонью. Короткий замызганный полушубок черной дубки расстегнут. Шарф землисто-серого цвета выбился из-под полушубка, трепыхается на ветру.

– Убийцам надо засыпать землей горло, а потом казнить! – говорил Игнат.

Бабы вздыхали. Игнат – мужик замкнутый, прижимистый. Одни его побаивались, другие открыто недолюбливали. До революции он был церковным старостой, а в годы нэпа лавочкой обзавелся. Ловкий был мужик, умел приспосабливаться: одним из первых вступил в колхоз. До войны не лез в начальники, а как мужиков в Липягах поубавилось, так стал бригадиром…

Потом заговорил Михей Лобанов. Узкоплечий, нескладный, вечно не то больной, не то невыспавшийся. Он был соседом покойного Кузьмы. Михей и начал с него, с Кузи. Только вспомнил о нем, какой это был добрый и безобидный человек, не утерпел, зашмыгал носом. Сказал еще несколько слов и окончательно разрыдался.

– Убийцам надо отрубить руки и ноги, – сказал он сквозь слезы.

Какая-то баба впереди заголосила. Стоявшие неподалеку от меня доярки тоже уткнулись в платки и принялись вытирать слезы.

Горе Михея всем было понятно.

Михей Лобанов и Кузьма Лукин прожили под одной крышей более двадцати лет.

5

Они не были братьями. Судьба свела их под одну крышу случайно: оба жили в бывшем поповском доме.

Поповский дом на самом краю нашей улицы. Дом большой, под железом, с верандами, с резными наличниками, с флюгером на крыше. В доме две половины: одна – господская, другая – черная, для прислуги.

В чистой, господской, жил отец Александр, наш липяговский поп. Он наследовал приход от отца: и отец его, и дед исстари служили у нас. Александр был поп просвещенный. Он довершил начатое еще его отцом строительство церкви. Именно его стараниями, с помощью земства, построена и школа, та самая, в которой учатся все липяговские ребята, где и я учительствую. Отец Александр не брал «кусочков» при освящении скота и построек, не ходил на поминки. Поговаривали, будто он родня одному из больших русских ученых-физиологов. Это весьма возможно. Ученый тот был наш, рязанский.

Помню, в годы, предшествовавшие коллективизации, отец Александр жил одиноко. Дети учились в городе, попадья была с ними. Несложное его хозяйство, главным образом сад и кухню, вел Кузьма Лукин, его работник. Он жил в «черной» половине дома. У него была такая же, как он сам, тихая жена и полна изба детей.

Поповский дом оживал только летом. Летом на вакации приезжала попадья с дочками. По праздникам семья обедала на застекленной веранде. После обеда окна веранды открывались, и сквозь раздвинутые занавески на улицу выставлялась большущая черная труба – граммофон.

Отец Александр после обеда любил часик-другой отдохнуть. Дочки тем временем веселились. Они заводили музыку. Нам, деревенским ребятишкам, все это было в диковинку. Со

всего порядка, бывало, собирались к поповскому дому голопузые пацаны и подростки. Придем, рассядемся на поляне перед домом и сидим, словно стая воробушков, ждем.

Перед домом – обширный палисад. По углам его возвышались мрачные пихты, а у самого забора густо разрослась сирень. Весной сирень цвела голубовато-палевыми цветами. Дом за сиренью, в глубине сада. Видна только веранда и крыльцо. На веранде возле граммофона суетятся девицы в белом.

Но вот наконец труба заиграла. Незнакомые звуки вальсов, полек, мазурок нас завораживали. Мы готовы были весь день сидеть перед поповским домом. Девицы не смотрят на нас, у них свои забавы. Под вечер, отдохнув, на веранду выходит отец Александр. Он без рясы, в халате, в мягких, из лосевой кожи, сапожках. Постоит отец Александр, будто не замечая нас, потом незаметно так скроется за калиткой, ведущей в сад. Глядишь, через минуту-другую идет назад, с лукошком, полным падалиц. Подойдет к забору и – раз! Через кусты сирени на поляну посыпались яблоки.

Мы мигом вскакиваем с земли и, как муравьи на добычу, бросаемся за падалицами. Кто повзрослее, посильнее, тот норовит оттолкнуть малышей. Те дерутся, плачут. Редкий раз обходилось без потасовки.

Отец Александр был добрый. Он приносил еще лукошко падалиц, и мы, набив за пазуху яблоки, успокоенные, расходились по домам.

Поповская усадьба внешне походила чем-то на крепость. Несмотря на свои огромные размеры, весь сад и надворные службы, прилегающие к нему, – все было огорожено высоким дощатым забором. По всему забору, словно крепостные башни, стояли ветлы. Ветлы были старые, кряжистые, стволы их разрослись в два-три обхвата. За ними не видно ни деревьев, увешанных плодами, ни райских дорожек, обсаженных цветами. Обо всем, что было в саду и в доме попа, ходили только слухи, редко кто из мужиков бывал в покоях отца Александра.

Осенью, когда ветлы оголяются, ребята с завистью и тайной надеждой прохаживались возле сада. За высоким забором пламенели гроздья рябины; янтарным блеском лоснились плоды антоновки. Идешь, бывало, мимо, и все тебе кажется, что вот-вот найдешь яблоко или грушу, упавшую случайно через забор. Но тщетно! Сучья яблонь и груш, которые норовили перерасти изгородь и очутиться по другую ее сторону, были заранее отпилены: отец Александр оберегал свою паству от соблазна…

Поповский дом всегда пугал меня. Я и теперь, признаться, побаиваюсь проходить мимо него ночью. В дуплах ракит, окружающих сад, водилось множество сов. Ночные крики их слышны далеко окрест. Черная глубина сада, и на его фоне – белые облупившиеся стволы вековых ракит. Идешь и вдруг явственно видишь: на одной из ракит висит… женщина. Весь покроешься испариной от испуга и оторопи, готов уже вскрикнуть, бежать прочь, как замечаешь, что это всего-навсего белеет отодранная кора дерева.

Бабы рассказывали про поповский дом всякие небылицы. Говорили, что попадья потому не живет в нем, что когда она была молодой, будто к ней раз ночью прилетел ангел и соблазнил ее; будто узнал про то отец Александр и выпроводил ее в город.

Мужики в ангела не очень-то верили, но тоже, как я заметил, не проезжали мимо поповского дома, не перекрестившись.

Теперь, спустя много лет, я понимаю, откуда все это шло. Это шло от неведения, оттого, что дом отца Александра был совсем иным миром, путь сюда нашему брату, лапотнику, заказан. Тем понятнее была настороженность людей, когда наконец перед ними открылись двери поповского дома.

6

Однажды, в самом начале зимы 1930 года, по Липягам пронесся слух: отца Александра, как врага колхозного строя, ночью забрали и увезли в город. В поповском доме, вернее, в большой, хозяйской половине его, разместилось правление только что созданной артели «Красный пахарь». Работник же попов – Кузьма Лукин – так и остался жить в «черной» половине. Он одним из первых вступил в «коммунию» и состоял как бы завхозом: принимал имущество от вновь вступающих в артель – коров, лошадей, сохи. Все это сводилось и свозилось на просторный баз.

В ту зиму село бушевало. Что ни вечер, в доме отца Александра сход. До зари спорили мужики. Спорили о том, как жить. Жить, как прежде, единоличниками или идти в «коммунию»? Волновали эти споры и нас, деревенских подростков. Без нас ни одно дело на селе не обходится, всюду мы суем свой нос. И тут, конечно.

Помню как сейчас свое первое посещение поповского дома. Меня, не видавшего до этого никакого жилья, кроме мужицкой избы, где дети возятся на полу вместе с ягнятами, поразила прежде всего чистота, необычность обстановки в доме отца Александра. Широкие половицы покрашены масляной краской. На стенах – цветастые обои, портреты. Мебель с резными ножками; диваны и кресла обиты плисом. Сядешь – и погрузишься, словно в пуховики. В гостиной – пианино, покрытое белым чехлом. Вдоль стен до самого потолка застекленные шкафы с книгами: Библия, всякие Евангелия, речения святых… Все, как одна, в кожаных переплетах, с золотым тиснением на корешках. Нас, мальчишек, эти книги мало интересовали. Написаны они были чужими, непонятными буквами, листы большей частью без картинок. Зато с какой жадностью копались мы в нижних ящиках шкафов, где находились журналы! Их было очень много, причем самых разных: и по-нашему написанных, и по-чужому, и с картинками, и без картинок. Нам больше всего понравился журнал «Нива». Годовые комплекты его были переплетены в толстенные книжки. Если завладел хоть одной такой книжкой, ты самый счастливый человек. В этой книжке целый мир: загадочные рисунки, стихи про зиму и сенокос, всякие рассказы; красочные обложки можно вырезать и наклеить на стены, а можно сделать из них карты. «Ниву» на что угодно можно променять. На рогатку, на самопал, стреляющий серой, соскобленной со спичек…

В библиотеке рылись не только ребята. Шуровали там и взрослые, выбирая книги по своему вкусу и разумению.

В ту зиму поповская усадьба походила на улей. Сюда со всего села свели мужики лошадей, коров, привезли в плетенках кур. Коровы и лошади не помещались в хлевах, они бродили по саду, вытаптывая клумбы и сгладывая кору с деревьев. Некормленые куры прыгали по балясинам веранды, сидели на штакетнике палисадника, на крыше дома. Зима, как назло, была вьюжная. Ежедневно по десятку их мерзло и дохло.

Ранней весной, едва началась капель, в село неожиданно вернулся отец Александр. Рассказывали, будто его привез сам председатель райисполкома. Правление колхоза тотчас же перебралось на село, в дом кулака Сучкова. Дворовые постройки поповского дома тоже к этому времени освободились – после «головокружения от успехов» в колхозе не осталось и десяти семейств.

Отец Александр отказался от священного сана и службы. Он стал потихоньку доживать свой век в разоренной, общипанной мужиками усадьбе. Поп был очень одинок. Бывшего его работника Кузьму произвели колхозным конюхом. Кузе теперь нет дела до отца Александра. Правда, его жена и дети некоторое время помогали попу, чем могли. Но отец Александр был человек умный. Он понимал, что ждать благотворительности от людей, у которых семь ртов, трудно, и стал искать себе опекуна.

Ближе всех к попу был Игнат Старобин, служивший одно время церковным старостой. Игнат-то и посоветовал ему взять в дом Михея Лобанова. Михейка был тихонький, болезненный мужичишка, который невесть чем и как жил. До колхоза служил в работниках, у кого служил, там и жил, и кормился. Последние годы он работал где-то под Ореховом на торфе. Оттуда вернулся со справкой, что болен падучей, а посему для колхоза негодный.

Вот этот-то Михейка Лобанов и поселился у отца Александра. Первым делом Михей порубил все засохшие ветлы, понаделал колья. Справил заново городьбу вокруг сада, разоренную за время хозяйствования «коммунальщиков», а заодно тихо-тихо отгородился и от Кузьмы. Соседу он оставил пустырь, заросший репейником, где возвышались горы глины – остатки поповской риги, а себе отхватил весь сад.

Тихий падучий оказался на редкость ретивым работником. С темна до темна возился Михейка в саду. Поливал, подчищал, окапывал. А как пошла ягода, то открыл потихоньку лавочку. Садов у нас в Липягах мало, а всяко случается: занедужит кто или полакомиться захочет, вот и идут к батюшке за вишней да за смородиной. Один деньжонок несет, другой десяток яиц завяжет в узелок. Отец Александр ни к чему не причастен. Сидит себе на веранде, книжки читает. Распоряжается всем Михей. Тот за все норовил содрать. Он и падалицы «за так» не выбросит, как, бывало, поп.

Осенью Михейка женился на дородной, засидевшейся в девках Катьке Старобиной. Ни свадьбы не было, ни гульбища – умел Игнат Старобин делать все тихо. Одни говорили, будто Игнат дал богатое приданое за Катьку, чтобы скрыть ее грех. Другие крестились, услышав это: Бог с тобой, мол, соседка! Михей взял Катьку полюбовно. Они на торфу вместе были. Оттуда у них и любовь. Да Игнат не хотел пущать к себе беспортошного Михейку. А теперь все наладилось, вот он и просватал.

Не знаю, как оно было в самом деле, но осенью под кров поповского дома пришла новая хозяйка – Катька.

Катька была крупна, грубовата; Михейку, тщедушного своего мужика, могла пришибить одним ударом. Баба сильная, работящая, она все перевернула в доме. Катька нашла, что старому отцу Александру достаточно и одной крохотной комнатки, той, что по соседству с кухней. А сама с мужем заняла и горницу, и библиотеку, и столовую.

Отец Александр не протестовал.

Как-то зимой, в самый канун Крещения, отец Александр умер. Бабы всякое судачили по поводу его неожиданной смерти. Но наш местный фельдшер определил, что у батюшки случился паралич сердца, и все успокоились. Приехала попадья, приехали дочки; отца Александра «с Богом» похоронили. Прихожане вскорости позабыли своего бывшего попа; только изредка какая-нибудь старуха, проходя мимо поповского дома, перекрестится по старой привычке, да и то если поблизости нет новых обитателей дома…

Вот какими превратностями судьбы Кузьма Лукин и Михей Лобанов оказались под одной крышей.

7

Панихида окончилась. Ораторы сошли с крыльца. Все столпились у помоста, на котором стояли гробы. На некоторое время, как всегда бывает в подобных случаях, произошла заминка.

Наконец вперед вышла Катька Лобанова, неся над головой крышку гроба. Следом пошли Игнат Старобин, Бирдюк, Михей Лобанов и парторг Алексей Веретенников. Степана Горбаня бережно подняли на руки друзья-железнодорожники во главе с председателем.

Духовой оркестр вразнобой заиграл похоронный марш. Женщины зашмыгали носами. Дарья, жена Кузьмы, заголосила, и вся эта черная разноликая толпа, толкаясь, чавкая ногами по грязи, двинулась к кладбищу.

Кладбище – на выходе из села, за нашими кончановскими огородами. Дорога неровная, разъезженная. Всю осень по ней возили на станцию зерно, картофель, капусту. Луговина разбита; колеи, одна глубже другой, исполосовали всю пажу. Жгуты их, петляя, тянулись к горизонту.

Было ветрено, и холодно, и неуютно.

На кладбище чернели оголенные ракиты и вязы. Деревянные кресты сливались с частоколом изгороди.

Ворота погоста распахнуты. У самых ворот, в толкучке, меня кто-то взял под руку. Оглянулся: рядом со мной стояла Лида, наша «англичанка». Вместе с ней мы протиснулись сквозь калитку и, пропуская толпу зевак, отошли в сторонку.

В минуты грустных раздумий радуешься всякому участию. Я давно замечаю, что Лиде скучно в деревне. У нее нет в Липягах хороших знакомых. Девушка она романтическая, чуточку со странностями, как у нас говорят, «не от мира сего». Ей даже с учителями сойтись трудно. Большинство учителей у нас люди местные. Они в возрасте; у каждого хозяйство, дети – одним словом, свои заботы. Ей не к кому приткнуться. Она прослышала, что я пописываю, получаю кое-какие журналы, и тянется ко мне. Все просит, чтобы я почитал ей, что пишу.

Но я так и не почитал. Однако, несмотря на это, она все же питает ко мне симпатию, хотя и знает, что я женат и что у меня дети…

– Как дико все это! – Лида кивнула на свежевырытую могилу, черневшую в дальнем углу кладбища.

Мы отделились от толпы. Вдоль частокола росли вязы. Опавшие листья их шуршали под ногами.

– Вы вели сегодня урок?

Я кивнул головой.

– Вы жестокий! Все село как разрытый муравейник, а вы… Я посторонний тут человек и то эти две ночи не сплю. Кажется, что убийцы в окно стучатся, лезут.

– Вы думаете, что все липяговцы воры?

– Нет, но я ужасная трусиха. Если бы я давала сегодня урок, то я, наверное, заикалась бы. А вы герой. Что же вы рассказывали ребятам?

– Рассказывал про сообщающиеся сосуды.

– Воду наливают в сосуд… Вода принимает форму сосуда… – заговорила Лида, очень точно подражая моей интонации и манере говорить.

Я пожал ее руку в знак того, что понял шутку.

– Принимает форму?! – повторила она. – Вода принимает! А вот люди… С людьми так не получается. К коммунизму идем, а тут такая дикость. Как рак какой-то эта частная собственность. Давно уже открыта, все знают, что она страшна, и никакой управы с ней.

– Рак… Это вы хорошо, Лидочка, сказали.

– Говорят, они сознались.

– Кто?

– Да убийцы! Бухгалтер этот и кассирша.

– Едва ли.

– Я стояла тут с женщинами. Слышала, они разговаривали. Я одного не понимаю: на что им эти деньги? Что с такими деньгами можно сделать?

– Шут их знает. Может, хотели дом купить где-нибудь под Москвой. Стали бы выращивать на усадьбе клубнику и продавать ее на рынке. Вы, Лидочка, лучше меня знаете, где они ее могли бы продавать.

– На Даниловском рынке.

– Вот-вот, и стали бы продавать клубнику на Даниловском рынке.

– Говорят, они были в любовной связи и хотели удрать, чтобы начать где-нибудь жизнь сызнова.

– Чепуха это! Никодимычу на седьмой десяток перешагнуло. Он с самых первых дней в артели деньгами распоряжался. Дети взрослые. Куда ему!.. А Лизка-то у меня училась. Я ее знаю.

Музыка смолкла. Стало тихо. Слышно было, как под ветром шуршат сухие листья, трепыхавшиеся на ветвях; каркали вороны. Потом ветер донес обрывки каких-то слов, видимо, кто-то говорил прощальную речь.

– Вы были когда-нибудь на Новодевичьем кладбище в Москве? – спросила Лида.

– Нет, – сказал я. – Я вообще не люблю кладбищ.

– Ну что вы! Очень интересно! Хотя на Новодевичьем не очень. Чисто, и порядок, и памятников хороших много, а как-то неприятно это. Как в коммунальной квартире все равно. Теснота. Нигде лишнего вершка земли. И цветы даже как неживые. Совсем не то на «Литераторских мостках»…

– Вы, Лидочка, говорите так, будто собрались на тот свет и выбираете себе место, где поуютнее.

– А вы, оказывается, злой! – Она чуть смутилась. – Да ну, все равно я вам прощаю! Вот послушайте… Я часто бывала в Ленинграде. Папа у меня военный, баловал меня. У него в Ленинграде родственники. Я останавливалась у них. Приеду в Ленинград и первым делом отправляюсь… куда б вы думали?

– Я бы первым делом побежал в Эрмитаж.

Лида покачала головой.

– А я нет – ни в Эрмитаж, ни в Русский музей, ни даже в Ленинградский дом торговли, а на «Литераторские мостки». Какая простота там! Какой простор! Лежат четыре гранитные плиты; на них надписи: «Белинский», «Писарев», «Салтыков-Щедрин», «Тургенев», «Успенский»… Вся святыня России. Сколько в их книгах боли за будущее людей! Сколько надежды! А стали ли мы хоть вот настолечко лучше?

– Наверно, стали.

– Не знаю…

Народ расходился. Лишь кое-где возле могил стояли женщины.

Я проводил Лиду до околицы и пошел домой. В переулке нагнал мужиков и баб, возвращавшихся с похорон. Мне не хотелось их обгонять, и некоторое время я шел следом.

Игнат Старобин и его дочь Катька вели под руки Дарью – жену Кузьмы Лукина. Михей Лобанов шел вместе с детьми Кузьмы.

Идя позади, я невольно думал о каждом из них.

На кладбище явилось все село, и говорили всякие хорошие речи. А вот домой разбитую горем старуху ведут все-таки соседи.

Как-никак четверть века под одной крышей вместе прожито…

8

Прошла неделя. Село успокоилось. Казалось, все позабыли про Кузьму и Степана Горбаня.

С того дня у меня не было уроков в 6-м классе «Б». Когда пришло время, я снова вынул из шкафа колбы и как ни в чем не бывало продолжал прерванный урок: «Если мы нальем воду в сосуд, то вода принимает форму сосуда…»

Вижу, опять что-то неладное с ребятами. Они снова чем-то возбуждены: шепчутся, плохо слушают. Я опять достаю свой талисман – колбу в виде пингвина – и начинаю показывать, как вода заполняет все ее закоулки.

Не тут-то было.

Решаю вызвать кого-нибудь из ребят к доске. Это всегда помогает навести порядок.

Вызываю одного. Прошу рассказать про закон Паскаля. Отвечает что-то невнятное. Ставлю двойку. Гляжу – притихли. А-а, проняло-таки! Вызываю другого.

– Ну-ка, – говорю, – иди теперь ты, Лобанов!

В классе молчание.

– Что, нет Лобанова? – спрашиваю я настойчиво, отыскивая глазами Генку.

Все молчат. Генки на месте нет. Только я раскрыл журнал, чтобы сделать отметку об отсутствии Генки на уроке, вижу, на самой последней парте встал Димка Карташев.

– Генку забрали в милицию. Он убийца.

– Что?! Что?! – не сразу понял я.

– Он убийца! – закричали все разом.

Я постучал карандашом по пингвину, призывая ребят к тишине. Не помогло. Перебивая друг друга, каждый выкрикивал свое:

– Их всех взяли: и дядю Игната, и Михея.

– И Катьку взяли!

– Генка-то главный. Он сумку на погост относил!

Трудно было понять что-либо из их слов. Да ребята ничего толком и не знали, кроме того, что взяли всех обитателей поповского дома. Не сразу мне удалось справиться с классом. Мало-помалу ребята затихли. В оставшееся время я рассказывал про шлюзы, про то, как устроен городской водопровод. Казалось, ребята успокоились. Но вот зазвенел звонок, и не успел я еще собрать со стола свои колбы и мензурки, как в класс ворвалась толпа мальчишек.

– Эй вы, «бешники»! Покажите нам убийцу!

9

Я сижу в углу у окна. Это мое постоянное место. Уже пять дней подряд я прихожу в клуб в одно и то же время, как на службу, и сажусь в этот угол.

Клуб в Липягах маленький. Он не может вместить всех желающих попасть на процесс. Колхозники ходят на суд по очереди – одни на утреннее заседание, другие – на вечернее. Мне, как бытописателю Липягов, сделано исключение: меня пропускают и утром, и вечером.

Все село только и живет этим. Сегодня, кажется, последний день. Я пришел пораньше. У входа уже стояла толпа людей. Мне пришлось изрядно поработать локтями, пока я достиг желанной двери. Милиционер уже признал меня за эти дни – пропустил. Войдя в клуб, я пробрался в свой угол. Здесь удобно, есть столик. Столик поставили для корреспондента областной газеты. Он пишет отчеты о суде. Я пристроился с ним по соседству.

Заседание еще не началось. Присев к столику, я раскрыл тетрадь.

Впереди меня, сутулясь, сидит Иван Степанович, председатель. Он в черном железнодорожном кителе, седые волосы пострижены ежиком. Рядом с ним – Никодимыч и Лизка, кассирша. Все трое выступают на суде как свидетели. Перед ними барьер, наскоро сколоченный из свежеоструганных тесин. За барьером скамья подсудимых, а дальше, на возвышении, место судей.

В зале разноголосый гул. Но вдруг все затихли: в зал ввели подсудимых. Спустя некоторое время на сцену вышел гладко причесанный молодой человек в черном костюме – секретарь суда.

– Встать! Суд идет!

Следом за секретарем появились председатель и два заседателя; на некотором расстоянии от них – прокурор и защитник.

Все поднялись со своих мест и постояли одну-две минуты в тишине. Я глядел на преступников.

Лиц их мне не было видно. Видны были только спины. Первым от меня сидел Игнат Старобин. В камере предварительного заключения его остригли наголо. Голова его, шишковатая, большая, стала похожа на голову изголодавшегося за зиму волка. И уши у него волчьи – хрящеватые, вытянутые кверху. Мне почему-то все время казалось, что они шевелятся.

Рядом с Игнатом, сложив по-монашески руки, сидела его дочь Катька. На ней был черный казакин, голова повязана черным полушалком. Муж ее, Михей Лобанов, о чем-то переговаривался со старшим сыном. Крайним слева сидел самый младший соучастник преступления – Генка, мой ученик. В форменной ученической куртке, жалкий, крохотный, он походил на запуганного зверька. Генка плакал, шмыгал носом; плечи вздрагивали. Никто из родителей не утешал его. Он был главным виновником провала.

Вся картина этого ужасного дела вскрылась на суде до мельчайших деталей. Сначала Игнат Старобин ни в чем не сознавался. Когда его взяли, он учинил скандал: как сумели запятнать честного труженика! Его жизнь вся на виду. Каждый знает, в колхозе он с первого года. Ни от одной работы не отказывался! В завхозах в войну ходил. Какой год уже бригадирствует! Он поклепа на себя не потерпит!

Следователь выслушал все это и говорит помощнику:

– Позовите сюда свидетеля!

В кабинет вошел старикашка в залатанной овчинной шубейке, седенький, благообразный. Игнат настороженно поздоровался. Он узнал старика: это был Лепич, хворостянский плотник. Следователь попросил того повторить свои показания.

– Вот, значится, – начал Лепич, – когда это было?.. Уж запамятовал! Да, в понедельник, значит. Дежурил я в нашем колхозном правлении. Дело, значит, за полночь, вторые петухи пропели. Пригрелся я у печки и задремал. Слышу, будто телефон трезвонит. Кому, думаю, лихоманка приспичила трезвонить в этакую пору? Людям покою не дают! Озлился, хотел было не подходить. А потом вдруг подумал: «А ну-ка сам секретарь обкома звонит?» Да бегом, значит, к трубе-то. Але, говорю. А в ответ мне не голос, а истинно рев: «Район?! Район?! Из Липягов сторож говорит. Передайте в милицию: нас Игнат-бригадир пришел убивать. И с ним…» Кто с ним, я не расслышал, а вот Игната-бригадира помню…

– Клевета! – возразил Игнат. – С Лепичем у нас старые счеты. Он мне избу ставил в войну, мы с ним из-за цены поругались.

– Лепич врет?! Да мне, можа, через год Господу Богу преставляться! И клепать зазря на человека?!

Игнат отпирался. Однако его не отпустили. Мало того, следом взяли всех родственников: Михея Лобанова, Катьку и их старшего сына. На допросе никто из них не признавался. Тогда приехали за Генкой. Его посадили в машину и повезли в район. Он был страшно напуган всем случившимся. Ему сказали, что если он обо всем, что знает, расскажет, то его сразу же отпустят домой.

«Я ничего не знаю… – пролепетал Генка сквозь слезы. – Мне сказал отец: „Возьми вот эту сумку и отнеси на кладбище“. Темно еще было, и я очень боялся. Я отнес ее и бросил в репейники…»

10

Они сидели на одной скамье: справа – шестидесятилетний дед, слева – четырнадцатилетний внук его Генка, мой ученик. Я видел только их спины. Пять дней подряд я смотрел на эти спины, смотрел и думал: «Вот эти люди каждый день ходили по нашей улице. Я встречал их, здоровался с ними, справлялся об их самочувствии, говорил им что-то об их внуке; и мне

казалось, что это люди. Что у них свои, понятные всем радости, свои, скрытые от других горести. А вышло, что вовсе они не люди…»

…Они пришли к правлению вчетвером: Игнат, Михей, Катька и старший сын Лобанова – Игорь. Было начало четвертого. В бухгалтерской горел свет. Игорь заглянул в окно. Сторожа сидели за столом. Они играли в шашки.

У грабителей все заранее было обдумано. Михей Лобанов, сосед Кузьмы, должен был позвать его, с тем чтобы тот открыл дверь. Едва Кузьма выйдет, Игнат тут же, на крыльце, прикончит его. Игорь и Катька должны были остаться на улице сторожить. На обязанности Игоря лежало и еще одно дело – порвать телефонные провода.

Михей постучал в дверь. Долго никто не выходил. Он постучал еще раз. Наконец Кузьма вышел.

– Кто там? – спросил он.

Игнат толкнул Михея в бок: говори!

– Сосед, открой! – нарочито оторопелым голосом заговорил Михей. – Корова твоя подыхает. Объелась, видать. Дарья прислала узнать: прирезать или за фельдшером бежать? До утра не проживет. Разносит ее всю, того и гляди подохнет…

Кузьма тихоня-тихоня, а выругался. Тихоня, а двери сразу не открыл: постоял, потоптался и снова ушел в бухгалтерскую. Игнат и Михей, затаившись, ждали.

– Шубу надевает… – шепотом проговорил Игорь от окна. Он стоял в засаде. В руках у него был шест, чтобы в нужный момент ударить им по проводам.

Наконец заскрипели половицы в сенцах. Вот щелкнул выключатель. Кузя зажег свет. Шмыгнул засов, и, крякнув, Кузьма открыл дверь.

– Пошли…

Что произошло дальше, не совсем ясно. Каждый из обвиняемых рассказывал об этом по-своему. Ясно одно: все началось не так удачно, как задумали.

Игнат ударил Кузю топором. Норовил угодить по голове, но промахнулся: удар пришелся по плечу. Шубейка на Кузе была латана-перелатана, но топор все-таки не сразу прорубил ее. Кузя вскрикнул и метнулся назад. А из бухгалтерской уже выходил Степан, чтобы закрыть дверь за уходившим домой напарником.

Тут некстати погас свет. Это, как потом выяснилось, Игорь шестом ударил по проводам, стараясь порвать их. По ошибке, в торопи, он сбил только электрические провода, а телефонных повредить не успел – его позвали на помощь.

Помощь потребовалась потому, что в темноте началась свалка. Кузьма, не добежав до двери, упал. Игнат споткнулся, налетев на упавшего сторожа, и завалился сам. Михей зажег карманный фонарик.

Пока Игнат, чертыхаясь, поднимался, Кузя орал благим матом, сзывая на помощь. Его тут же прикончили.

Тем временем Горбань, второй сторож, успел схватить берданку. Ружье было Кузино, оно всегда стояло за шкафом, даже когда Кузя уходил домой. Берданка оказалась незаряженной. Старый стрелочник вспомнил про телефон.

Телефон находился в председательском кабинете. Степан метнулся туда, он успел закрыть за собой дверь. Дверь, правда, была легкая, филенчатая, но на двери английский замок. Закрывшись на замок, железнодорожник стал неистово крутить ручку, вызывая район. До района от Липягов недалеко, но на один провод параллельно подключено три деревни. Когда звонишь, надо знать, сколько раз крутнуть ручку, чтобы вызвать именно район. Степан этого не знал. К тому же он спешил – грабители уже взламывали ломом легкую дверь.

Горбань крутил ручку, клал на рычаг и опять поднимал трубку – никто не отзывался. Наконец заспанный голос ответил ему. Он только успел сказать, что говорит сторож из Липягов

и что их пришел убивать бригадир Игнат… И тут филенчатая дверь отлетела, и в темноте сторожа с одного удара оглушили ломом.

Тем же ломом воры свернули замок несгораемого шкафа, и вот она – брезентовая сумка, плотно набитая пачками денег…

11

Судебное заседание началось. Осталось выслушать последнее слово подсудимых.

Прежде чем приступить к делу, члены суда посовещались. Видно, разговор у них шел о том, с кого начать.

Пока они совещались, я наблюдал за Генкой.

Мальчонка пугливо озирался по сторонам; он плакал, размазывая по щекам слезы. Мне очень жаль Генку, тихого и несказанно доброго паренька. Он приносил в класс полный ранец яблок и все раздавал ребятам. Весьма возможно, он и не знал о преступлении. Я верю, что так и было, как Генка рассказывал.

«Я спал, – говорил он на суде. – Кто-то толкнул меня в бок. Я открыл глаза – отец. На улице темень. „Одевайся!“ – сказал отец. Я оделся. Отец сунул какую-то сумку в мой школьный ранец и сказал: „Выбросишь на кладбище. Только смотри, чтобы никто тебя не видел“».

Генка рассказывал, как он боялся идти на кладбище, но еще больше боялся ослушаться отца. Рассказывая, Генка то и дело повторял, что ничего не знал, и плакал. Хотя, в общем, ему ничего не грозило. Выступая вчера с обвинительной речью, прокурор признал полную непричастность Генки к совершенному преступлению. Но вместе с тем можно понять его горе: он-то останется, но что будет с матерью, отцом, братом? Это, видимо, и страшило его. Прокурор сказал, что государство не бросит подростка на произвол судьбы, что его определят в интернат. Генка не знал, что это такое, знал только, что останется один. И потому плакал.

Судьи посовещались. Председательствующий предоставил последнее слово Екатерине Лобановой.

Катька встала, здоровенная, костистая – вся в отца. Заговорила тихо, срывающимся голосом. Начала с обращения к судьям. Пусть судьи, сказала она, перед тем как выносить приговор, подумают о том, что у нее – дети…

Зал загудел – трудно понять, не то сочувственно, не то осуждающе.

Катька насторожилась, прислушиваясь. Она знала, что на сочувствие рассчитывать трудно, но в ней еще теплилась надежда. И продолжала в том же жалостном тоне. Говорила о том, что она не хотела убийства. Хотела только устроить старшего сына. Он надумал жениться, а жену приводить некуда. Они подыскали на станции дом, нужны были деньги… Под конец Катька заплакала; вытирая концом платка слезы, залепетала что-то о Боге, о том, что не вынесет двадцати лет тюрьмы, которых требует для нее прокурор; зарыдала и, не ожидая разрешения председательствующего, села.

Игорь сказал всего несколько слов, признал, что повинен. Но просит о снисхождении, так как он не принимал непосредственного участия в убийстве. Он молод и, если суд найдет возможным сохранить ему жизнь, искупит свою вину честным трудом.

Михей выкручивался, как лиса, попавшая в капкан. Он сваливал всю вину на Катьку. Михей знал, что суд наш гуманен, что, несмотря ни на что, жену не расстреляют, и он всю тяжесть преступления свалил на нее. Всхлипывая, как ребенок, Михей рассказывал про свою жизнь в поповском доме. Судя по всему, в его рассказе была доля правды. Он жил у жены под каблуком. Катька издевалась над ним, била его, если он выступал супротив нее. Катька и ее отец, Игнат Старобин, натравляли его на соседа, уверяя, что Кузьма мешает им жить. Они заставляли его травить соседских кошек и кур. Они впутали его в это убийство…

Женщины шептались. Михей вызывал у них жалость. Прожить всю жизнь за частоколом, под каблуком у жены, которая и поколачивала, и изменяла, и вот под старость лет обо всем так рассказывать…

Зал сразу же затих, как только председательствующий обратился к Игнату. Старобин поднялся грузно, нехотя, как поднимается матерый волчище, не желающий уступить дорогу. В те трудные годы, когда многие семьи едва сводили концы с концами, Игнат поставил себе новый рубленый пятистенок; двор срубил из березовых кругляков, обнес его частоколом, как наши предки возводили крепости.

Как-то само собой получилось, Игнат стал незаменим в хозяйстве. Приходили и уходили председатели, а он оставался в завхозах – умел подладиться к каждому. Иван Степанович поначалу хотел было снять его. Но видит, человек непьющий, бережливый, и оставил. Потом все-таки с завхозов-то прогнал, на бригаду поставил. Скрытный этот человек, Игнат. На собраниях выступал редко; с бабами был в меру ласков и в меру грубоват. Непонятно почему, но они его побаивались.

И сейчас Игнат был верен себе, не спешил. Он откашлялся и вдруг грузно, всем корпусом повернулся к залу. Лицо его, исхудалое, с воспаленными, запавшими глазами, заросло седой щетиной. Черной дубки полушубок распахнут. Видна заношенная солдатская гимнастерка, забранная без ремня в штаны. В правой руке зажат треух.

Игнат заговорил, но спекшиеся губы не послушались, и вместо слова он выдавил из себя приглушенный, похожий на мычание звук:

– У-у-у!

Он харкнул, выплюнул на пол сгусток слюны и неожиданно выкрикнул:

– Ненавижу! Всех вас ненавижу! – Старобин поднес руку с треухом к груди и, потрясая им перед собой, заговорил быстро-быстро, словно боялся, что задохнется, прежде чем выговорит: – Всех ненавижу! Давно ненавижу! Я знаю, что меня ожидает. Потому и говорю – ненавижу! С малых лет я унижался перед вами. Кланялся вам, когда вы клали в церковную тарелку лишнюю копейку. Собирал за вами огарки. Я гасил их пальцами, чтобы они не догорали. Вы небось жалели меня: «Зачем, мол, Игнат обжигает пальцы…» Не тут-то было! Из огарков я опять делал свечи. Делал свечи и опять продавал. Вы покупали их. Это опять копейки. Я копил каждую копейку. Я человеком хотел быть! И я был бы им… У меня в нэп пятнадцать тысяч было! Не будь колхоза, вы теперь лизали бы мне ноги! Сначала я терпел. Думал, вот-вот развалится коммуния. Вижу – нет! Тогда я стал мстить всем за то, что жизнь не получилась. Я задумал сжечь все село. И я сжег его! Помните, в тридцать первом, на Пасху… Это я поджег… Я! Я!.. Ну чего же вы молчите?!

Бабы зашумели: пожар, о котором упомянул Игнат, был самым страшным за всю историю Липягов – сгорело почти все село.

– Стрелять идола! – кричали бабы.

– Рот ему землей заткнуть да повесить, чтобы вороны расклевали. Он сам себе такую смерть накликал!

Игнат помолчал, выжидая. Едва смолкли выкрики, Старобин заговорил тише.

– Их оставьте! – Он указал рукой на сообщников, сидевших на скамье. – Кто они? Мыши! Как есть мыши. Это я их подбил на дело. Что ж, не вышло. Может, оно и к лучшему. А их простите, пусть живут.

– Смерть убийцам! – крикнул кто-то из зала.

– Будя! Слухали его, хватит!

– Попил нашей крови!

Председательствующий встал:

– Прошу не перебивать подсудимого!

Колхозники успокоились не сразу.

Старобин стоял, ждал. Лицо его налилось кровью, глаза блестели. Он переводил взгляд с одного на другого, стараясь разглядеть, кто выкрикивал. Заскорузлые здоровенные пальцы крепко сжимали треух.

– Живым, – гудел зал, – закопать дьявола!

– Ненавижу! Всех ненавижу! У-у… – Игнат плюнул и, грузно повернувшись к залу спиной, сел.

Председательствующий, так и не добившись того, чтобы зал смолк, посовещался с заседателями. Потом что-то сказал прокурору.

Вопросов ни у кого не было.

Суд удалился на совещание.

С тех пор прошло немало времени. Вчера внук Кузьмы пошел в первый класс. Через пять лет он будет моим учеником. Он придет в физический кабинет, и я расставлю перед ним все те же колбы и все так же спокойно и эпически начну свой рассказ про воду: «Мы берем воду и наливаем ее в сосуд. Вода принимает форму того сосуда, в который мы ее наливаем…»

Потом после уроков я пойду домой. Выйду на площадь перед школой, пройду мимо пустыря, где когда-то была церковь; затем заверну за угол избы-читальни, спущусь в овражек и сразу же в начале нашей улицы увижу поповский дом. Я знаю, что теперь он пуст. Михея вместе с Игнатом расстреляли; Катьку и ее старшего сына, Игоря, посадили – посадили надолго. Дарье с детьми правление построило новый дом.

Никто не захотел поселиться в бывшем доме отца Александра. Изгородь вокруг сада повыломали, яблони засохли. И только вековые ветлы по-прежнему зеленеют по весне, и по-прежнему в дуплах их обитает множество сов, и крики их по ночам пугают и настораживают.

И сам не зная почему, но, проходя мимо поповского дома, я и теперь убыстряю шаги – скорее бы пройти мимо, не видать бы его.

Бирдюк

1

На рыжих стенах мазанок белеет паутина. Ее так много, что она видна даже из окна. Паутина неподвижно висит в воздухе, как канат от колоколов, спускаясь откуда-то сверху до самой земли. Пока дойдешь из школы до дому, всего тебя опутает паутина – и лицо, и руки, и портфель с ученическими тетрадями.

Ничего не поделаешь – бабье лето.

Народ в поле. Самая пора копать картошку. Дни теплые, звонкие. Двери погребов и сарайчиков открыты настежь. Малыши и старухи копаются возле погребков – перебирают картошку. Все взрослые в поле. Редкостная стоит погода. Надо успеть до первого зазимья убраться.

В такие дни на деревенских улицах всегда безлюдно.

Именно таким днем в самом начале бабьего лета и появился на нашей улице Бирдюк.

Несу кошелку с картошкой и вижу – Бирдюк идет. От центра, от правления. Сначала я не обратил на него внимания: мало ли хлопот у эмтээсовского кузнеца! Может, машина какая застряла в поле. А может, в гости к кому захотелось. У них, у эмтээсовцев, свои порядки.

Но вот Бирдюк прошелся вдоль улицы, от бывшего поповского дома до выбитого скотом выгона, и остановился на кичигинском пустыре.

Улицы у нас в Липягах узкие, все видно. Два ряда бревенчатых изб, крытых соломой; по обе стороны пыльной дороги рыжие мазанки и шалаши погребов. А тут, как раз напротив того места, где наша изба, – пустырь и посреди него остов большого, сложенного из красного кирпича дома.

Когда-то, еще в годы нэпа, на этой усадьбе задумал обосноваться наш липяговский купчишка Терентий Кичигин. Он жил на селе у самой церкви, там и лавка у него была. Торговал Терентий подсолнухами, астраханской селедкой, крестиками с изображением распятого Христа, солью и прочей мелочью. Видно, поднакопил Кичигин деньжат и задумал строиться. Приглядел себе участок на самом краю нашей улицы, или, как у нас говорят, порядка. Усадьбу Кичигин отхватил большую, чуть ли не с десятину. Земля тут неважная, где-нибудь на низах, у Липяговки, куда лучше. Однако Кичигин не посмотрел на это.

Он думал о другом, о деле.

Наш порядок выходит на большую скопинскую дорогу. Место бойкое. Сколько мужиков проезжало тут, особенно в пору ярмарок! Ехали из Чернавы, из Лебедяни, из Венева.

Кичигин и задумал поставить тут, с краю села, что-то наподобие постоялого двора. Чтобы дело со стройкой спорилось, он оборудовал свой небольшой кирпичный заводишко. В просторной риге лошади месили глину. Лошади были привязаны к длинным жердям, укрепленным на колесе. Морды их занавешены торбами, к хвостам подвязаны холстинные мешочки.

Коняг погоняет мальчик. Он стоит в центре, на колесе, и то и дело ударяет кнутом понурых кляч. Мальчик этот я. Нас у родителей полдюжины, а год костричный, неурожайный.

Я стегаю по очереди лошадок. Клячи ходят по кругу и копытами месят глину. Разделанную, словно тесто, глину режут на куски и относят к станкам. За прессами сыновья Кичигина. Они формуют кирпичи, кладут рядками и после просушки отвозят на пажу. Там их закладывают в ямы и обжигают.

Кичигин приторговывал кирпичом – сбывал с рук какой похуже. Себе оставлял самый лучший, что звенит при ударе друг о друга. Из этого кирпича он выстроил лабазы, погреба для хранения пива и сельди, потом принялся за хоромы. Кичигин заканчивал кладку дома

– большого красного дома на две половины: одну для жилья, другую для лавки. И тут вдруг липяговские мужики заговорили о «коммунии».

Терентий сразу сообразил, к чему клонится дело. С весны он прикрыл свою лавчонку, распродал лошадей, прессы и другое оборудование кирпичного заводишка. Насобирал деньжат и тихо-тихо спровадил куда-то сыновей. А осенью и сам за ними следом. Заколотил досками погреб, ворота лабаза, окна недостроенного дома, и был таков… Куда юркнул Терентий, никто толком не знал. Ходил слух, будто он купил себе дом где-то под Москвой – не то в Ступине, не то в Орехове. Говорили даже, будто бы он помер перед самой войной. Так ли, не знаю. Во всяком случае, никто из Кичигиных не наведывался за все это время в Липяги, чтобы заявить о своих правах на наследство.

Да и то, если говорить по правде, о каком наследстве могла быть речь! От кичигинского поместья почти ничего не осталось. Сначала мужики побаивались: а ну-ка Терентий кому-нибудь поручил доглядывать. Потом мало-помалу осмелели. Одному потребовалась сотенка кирпичей, чтобы подправить развалившуюся трубу; другой задумал подладить фундамент под избенкой… За каких-нибудь пять-шесть лет соседи растащили кичигинский лабаз. Настало время, добрались и до погреба. Видя такое дело, наш тогдашний колхозный председатель Чугунок распорядился изъять кулацкий кирпич на артельные нужды. Кичигинские погреба разломали, бут и кирпичи перевезли к Липяговке, и все это пошло на телятник.

Разломали бы и дом, но он оказался прочнее железобетона. Бились-бились, да так и не сумели разобрать. Только и удалось снять несколько кирпичей с карниза. Многие пробовали свою силенку. Ничего не получалось. Все отступились.

Так и стоял, зияя пустыми глазницами, красный кичигинский дом. Тридцать лет стоял. И еще простоял бы сто годов, если бы не Бирдюк.

2

Бирдюк приблизился к кичигинскому пустырю, постоял возле ям обвалившихся погребов; потом подошел к кирпичным стенам дома, заглянул внутрь, поковырял ногтем швы кладки, измерил ширину оконных проемов. Снова постоял, оглядываясь и прикидывая; потом заложил руки за спину и не спеша пошагал на зады.

Кузнец был огромного роста, длиннорукий и сухопарый. Однако, несмотря на свой огромный рост, он никогда не сутулился, отчего казался еще выше.

Вдоль вала, отделявшего огороды от пажи, росли ветлы. Бирдюк осмотрел ветлу, перешагнул через осевший, полуразвалившийся вал и все той же размеренной, неторопливой походкой направился к Кузьмину логу. Кузнец ни с кем не встретился, ничего не расспросил у соседей, копавшихся в огородах. Не знаю даже, обратил ли кто-нибудь на него внимание, кроме меня. Да и сам я не придал особого значения этому.

Но дня через три Бирдюк появился снова.

Наши бабы возвращались с поля. В сумерках было дело. Вдруг видят: с горки от Кузьмина лога катит кто-то на мотоцикле. Бабы перепугались. Думали, директор. И в войну, и после войны бабы понемногу потаскивали с поля, особенно в уборку. А в тот год впервые ввели «десятину». Вы знаете, что это такое? Это, коротко говоря, работа исполу. Выкопала колхозница десять кошелок картошки. Девять высыпает в общий ворох, колхозу, а десятую – в мешок, для себя.

Бабы ехали на подводе и везли эту самую «десятину». Все было законно. И все-таки они струхнули, увидев мотоциклиста. Кто его знает, сегодня «десятина» законна, а завтра, глядь, и… Одним словом, бабы заерзали на мешках, стали прикрывать их. Таня Виляла, правившая лошадью, хотела даже свернуть с дороги к логу, чтобы посбрасывать мешки в овраг. Хорошо, что другие бабы оказались посмелее и отговорили ее.

У самого въезда в село мотоцикл нагнал подводу. «Ба! Да это Бирдюк со своей молодой кралей катит!» – удивились бабы. Те, что помоложе, мигом стали прихорашиваться, поправляя платки и полушалки: чай, не хуже его крали!

Обдав повозку перегаром бензина, мотоцикл профырчал мимо и, помаргивая красным огоньком, стал подниматься в гору.

– Ишь, расселась, не боится, что пузо растрясет… – сказала Таня Виляла, кивнув на женщину, сидевшую в коляске.

– А чего ей бояться, небось не на телеге едет. Под ней рессора есть.

– Удержит такую рессора! Разъелась, ажно бочка.

– За таким-то мужем и я бы за год растолстела так, что дизелем не переедешь! – не без зависти отозвалась Татьяна. Она молодухой осталась в войну без мужа с двумя детьми. Всякого пришлось хлебнуть. Однако не потеряла ни чувства юмора, ни былой своей красоты.

– С картошки не растолстеешь, поди!

– Толстеют-то от спокойной жизни.

Пока, судача и пересмешничая, бабы въезжали в село, мотоцикл протарахтел вдоль улицы и остановился на кичигинской пустоши.

Бирдюк соскочил с сиденья и помог вылезти из коляски сидевшей в ней женщине. Она была маленькая, но полная. Правда, полнота ее не от еды, о чем судачили бабы: она была беременна. Однако беременность не портила ее. Ее положение скрадывала одежда. На ней надето было широкое, без пояса, коричневое пальто с накладными карманами, белый из козьего пуха полушалок повязан туго, не так, как повязывают липяговские бабы. Из-под полушалка выбились на лоб завитушки светлых волос. Эти легкомысленные завитушки да еще чуточку вздернутый носик молодили ее. А рядом с угловатым верзилой, каким был кузнец, она и подавно выглядела девчонкой. Ее скорее можно было принять за дочь его, чем за жену.

– Ну как, Аня? – проговорил Бирдюк.

– Что ж, мне нравится…

Бирдюк взял жену под руку и повел к остаткам кичигинского дома. Так же, как и в тот, первый раз, они осмотрели развалины погреба, лабазов, затем подошли к самому дому, то и дело останавливаясь, долго топтались возле стен. Бирдюк все что-то говорил, размахивая длинными своими руками, а женщина громко и счастливо смеялась.

Уехали они, когда уже совсем стемнело.

3

Наутро только и разговору было о Бирдюке.

– Бирдюк-то к нам собирается. Приезжал вчера кичигинскую пустошь смотреть. Дом хочет отделывать.

Бабы без устали судачили о Бирдюке. Вспоминали его прошлое, жалели оставленную им Бирдючиху, завидовали втайне маленькой голубоглазой женщине, ставшей его новой женой.

Бирдюк наш, липяговский. Однако никто не знает, откуда пошла его кличка. Все, от малого до старого, звали его так, и никто не величал по имени и отчеству – Яковом Никитичем, а все Бирдюк да Бирдюк. Он не обижался. Может, сначала и обидна была ему кличка такая: Бирдюк – почти что Бирюк. Но давно уж его так величают. Привык.

Он ушел из Липягов лет четырнадцати. Их у матери была чуть ли не дюжина – один меньше другого. Отец погиб в гражданскую, в бою под Касторной. В деревне разруха, голод. Сначала Бирдюк ушел на «железку», а в тридцатом году, как только начала создаваться машинно-тракторная станция, поступил в МТС кузнецом. Но на самом деле он был не только кузнецом. Когда надо, он и токарничал, и слесарничал, и плотничал. Одним словом, Бирдюк на все руки мастер. И какой мастер! Случись, в горячую пору поломается какая-нибудь замыс-

ловатая деталь в тракторе или комбайне. Запасной нет. Как быть? Механик берет эту детальку в машину и мчится к Бирдюку. Так и так, мол, спасай.

Бирдюк поставит к наковальне молот, вытрет ладони о жесткий фартук, возьмет из рук механика сломанную деталь, осмотрит ее со всех сторон, помурлычет что-то себе под нос и наконец коротко бросит: «Можно».

Он сам откует заготовку, сам выточит, отшлифует. Причем, если надо, проторчит в мастерских всю ночь, а все-таки сделает, что обещал.

Кузнец всегда небрит, черен до копоти. Водки он не пил, дружеских компаний ни с кем не водил. Трактористы и механики его чуждались. Но он этим мало огорчался. Ему не хватало времени, чтобы ходить по гостям. Вечно он был чем-нибудь увлечен. Кроме того, что Бирдюк был несравненным мастером, он к тому же искусный выдумщик.

МТС создавалась у Подвысокого на голом месте. Когда-то, до революции, тут было крохотное поместье. Но в революцию барский дом сожгли. Пруд зарос осокой; ракиты и тополя, росшие вокруг поместья, крестьяне повырубали. Сначала в бывшем именьице обосновался табаководческий совхоз. Но земля наша слишком плоха для табака. Табак чах, раньше времени засыхал, и «тютюнтрест» от своей затеи отказался. Вдруг в одно прекрасное утро появились тут, у Подвысокого, черные свиньи. Зимой и летом свиньи разгуливали на поле, не знаю, кормили ли их, ухаживали ли за ними, уж очень страшны, худы они были. И до того голодны, что, как кобели, набрасывались на живых людей. Наши бабы одно время боялись даже ходить к Подвысокому. Свиньи перепахали носами все луга по Липяговке. Не помню точно, сколько лет владел этой пустошью свиносовхоз, только однажды черные свиньи так же неожиданно исчезли, как и появились.

На перепаханном свиньями пустыре началось строительство МТС. Более четверти века прошло, а пустырь в Подвысоком так и остался пустырем. Тесовый навес для хранения машин, мастерские, сложенные из дерна, два-три домика, в которых жило начальство и специалисты, – вот и все. Ни мостовой, ни деревца вокруг.

И среди этого уныния зеленым раем выглядит дом Бирдюка.

Вскоре после перехода с «железки» в МТС Бирдюк заслал сватов к богатому мужику Даниле Лункину. Кузнецу приглянулась дочь Данилы Ефросинья. Выслушав сватов, Данила рассвирепел. Он обозвал будущего зятя беспорточным, а сватов вытолкал взашей. Но не на того напал Данила. Бирдюк легко не отказывался от того, что задумал. Спустя некоторое время кузнец сам пожаловал к Даниле. «Не смотри, Данила, что я беспорточный, – сказал ему Бирдюк. – А жизнь Фросе сделаю райскую. Как пеночка, будет сидеть моя женушка в саду да песенки распевать».

Время для Данилы было сумеречное, беспокойное: как раз накануне у него описали все имущество за невыполнение в срок «твердого задания». Подумал-подумал Данила, да и махнул рукой. Черт с ней, с дочерью, – вся жизнь рушится!

Сыграли свадьбу. Бирдюк и приданого не взял за Фроську. Посадил ее на велосипед да и покатил к Подвысокому.

Вскоре он выхлопотал себе участок и начал строиться. Поставил пятистенок, сарай. Огород вспахал трактором чуть ли не на метр глубиной. Думали, он картошку собирается сажать, а кузнец с картошкой не спешил. Все лето, придя с работы, копался на вспаханном огороде. Рыл ямы, разбрасывал навоз. Осенью насадил сад. Чудный сад! Росли в нем невиданные в нашей округе деревья; груши вызревали величиной с черпак, черная рябина… А в саду Бирдюк вырыл пруд: пологие берега запруды оцементировал. Летом в пруду плавали белобокие гуси, которым было несть числа. Неподалеку от пруда беседка, увитая вьюном.

По вечерам в беседке, поджидая мужа, сидит Ефросиньюшка. От спокойной щедрой жизни Бирдючиха (ее никто не звал по-другому) располнела, раздобрела, да так, что едва проходила в дверь. А чего не добреть? Хорошо ей, спокойно в доме. Ее кузнец сделал все, что

обещал. Жизнь у нее и вправду райская. Другие бабы из-за одной воды за день надорвутся так, что руки отсыхают. Один-единственный колодец на весь поселок. Поноси-ка воду за полкилометра. А Бирдючихе никуда ходить не надо: только включи насос, и вода сама хлещет из крана.

Жить бы да радоваться Бирдюку, а он с каждым днем все мрачнее, все больше хмурится. Потчуя мужа, Бирдючиха подкладывает на тарелку самый лучший кусок мяса. А он отстранит его, вздохнет.

– Ты чего, ангел мой? Не захворал ли? Может, чаю тебе с сушеной малиной заварить?

Бирдюк вздохнет только в ответ. А сам подумает: «Для кого я все понастроил? Эх, сына бы…»

Он надевал картуз, садился на велосипед и катил на работу.

Бирдючиха собирала со стола, кормила гусей, буренку и снова спешила в беседку.

Так дни и шли.

4

На войну Бирдюка взяли не сразу. Он имел броню, как специалист машинно-тракторной станции. Его мобилизовали лишь осенью, когда немцы окружили Тулу и вплотную подошли к Липягам. Служил Бирдюк минометчиком. Воевал честно, даже геройски. Но про то мало кто знает. Бирдюк не любит хвастаться. Орденов и орденских планок не носил даже и по праздникам.

Вернувшись в Подвысокое, он прежде всего заглянул в мастерские. Посреди груды развалин виднелось ржавое колесо – маховик воздуходувки от горна. Бирдюк вынул колесо, отнес его к вагончику, в котором была контора.

– Пусть полежит, – сказал он механику. – Я вечером приду.

И пошел домой.

Дом его уцелел. В саду все было как прежде, только еще больше разрослись яблони, а кусты вишенника заполонили грядки, на которых когда-то росла клубника. И пруд зарос. И забор кое-где пошатнулся. Но это Бирдюка не страшило. «Ничего, все поправится со временем, – подумал он. – Главное, я опять дома».

Бирдюк взошел на крыльцо и постучал щеколдой.

Дверь ему открыла незнакомая женщина, беленькая, голубоглазая. Он принял ее за дальнюю родственницу жены и пошутил с ней и, не стесняясь ее, целовал свою Фросю. И лишь потом, когда сели за стол и эта женщина стала прислуживать, он вспомнил, что жена как-то писала ему, что пустила к себе на квартиру беженку-латышку и что та помогает ей по хозяйству.

Пообедав, Бирдюк отправился в контору. Вернулся вечером. Помощницы уже не было в доме. Фрося выдворила ее.

– Теперь и сами управимся, – сказала она.

– Как же так сразу! Надо бы ее куда-нибудь на работу устроить, – обиженно сказал Бирдюк. – А так, выходит, выбросили на улицу.

– Устроится. Она шустрая.

Ругаться и объясняться с женой Бирдюку не хотелось. Без того забот хватало. Он принялся наводить порядок в доме, в саду. В хлопотах совсем позабыл про латышку.

Однажды, придя утром в мастерские, Бирдюк неожиданно увидел ее. Она убирала в мазанке, где помещался стенд испытания моторов. Маленькая, в опрятном комбинезоне, светлые кудряшки выбились на лоб.

– Здравствуй, Яков Никитич! – сказала она весело и прижалась личиком к рукоятке метлы.

Бирдюк остановился. Почему-то ему стало неудобно за свою черную, лоснящуюся робу и за свои длинные руки, которые не знал куда деть.

– Э-э, ну как? – только и выдавил из себя кузнец.

– Ничего. Вот пока уборщицей определили.

– А с жильем как?

– Директор приказал каморку мне выделить в общежитии.

Бирдюк буркнул что-то и, заложив руки за спину, пошел вдоль мастерской. Ему сказали, чтобы он сам подыскал себе уголок для кузни. Но в мастерской, построенной наспех, кое-как, приткнуться было негде. Так он и доложил директору. «Лепите сами, рабочих у меня нет, – сказал директор. – Нужен помощник? Берите Аньку».

Директор послал за Анькой, и вскоре пришла та самая блондинка в белом фартуке.

Кузню лепили из дерна. Зеленую луговину неподалеку от мастерских Бирдюк разметил на ровные квадраты. Подрезая дернину лопатой, кузнец с силой отдирал землю, накрепко схваченную корневищами трав. Аня, припадая на колено, бережно принимала дернины и складывала их на обочине в штабель. Помощница была проворна, трудолюбива. Был у нее только один изъян – любила «поточить лясы». А Бирдюк терпеть не мог болтливых людей, особенно на работе. Аня же, казалось, не замолкала ни на минуту. В первый же день она все рассказала о себе.

Оказалось, она вовсе не латышка, как звали ее бабы, а белоруска. Родилась и выросла в какой-то деревушке под Могилевом. После школы ушла в город на стройку. Приходилось и кирпичи класть, и штукатурить. Там, в городе, познакомилась с летчиком и вскоре вышла за него замуж. Дружно жили, только часто переезжали с места на место. Война застала их в Латвии, потому и прозвали ее тут латышкой. У них был уже ребенок, когда все это началось. Фронт подступил к местечку, где находился аэродром, в первое же военное утро. Муж едва добежал до самолета. Чудом поднялся с аэродрома под обстрелом и бомбежкой.

С грудным ребенком, с узелком наспех собранного барахлишка побежала Аня вместе с отступавшими войсками на восток. Думала укрыться у родителей в деревне.

Не успела она выбраться на Бобруйскую дорогу, как узнала, что пал Минск. Оставался один путь – вглубь страны, в Россию. Она пробиралась от деревни к деревне до самой осени. В конце октября занемог ребенок. Ей пришлось остановиться. Три дня проболел мальчик, а на четвертый день умер. Было это уже в Липягах при немцах.

Тогда-то ее и приютила у себя Бирдючиха…

5

Август стоял знойный. Аня весь день работала в сарафане. Вся она крепко сбитая, гибкая: когда нагибается, чтобы взять с земли дернину, бретельки сарафана соскальзывают и видны белые, не тронутые загаром плечи.

– Вот и могилку бы моего мальчика обложить дерном, – сказала как-то она, когда они уже заканчивали кладку стен.

Бирдюк не ответил. А после работы взял лопату, и они отправились на кладбище. Обложили дерном бугорок земли, дороже которого у нее ничего не осталось. Муж погиб, родители померли.

Когда закончили кузню, Бирдюку жаль было расставаться со своей помощницей. Ему очень хотелось сделать для нее что-нибудь приятное. Он отыскал на свалке металлолома выброшенную кем-то металлическую кровать, перековал ее и сделал железную изгородь и памятник-обелиск на могилу Аниного малыша. Возился он с этим недели две. Домой приходил поздно. Жена обиженно дула губы: и то в доме не сделано, и это пришло в упадок, а он, видите ли, крестиками занялся.

Бирдюк молчал. Обрюзгшее, недовольное лицо жены с каждым днем все больше раздражало его. Домой идти не хотелось.

Аня часто забегала в кузницу. То ведро уголька принесет, то так просто, поболтать. Посудачит, перескажет все новости и уйдет. Зимой она захотела учиться на токаря. Как раз построили новую мастерскую и привезли два новых токарных станка, а станочников не хватало.

Бирдюк вызвался помочь ей. Бывало, все уйдут из мастерской, а они все что-то мудрят у станка.

Прошел год.

Аня давно уже работала самостоятельно. Она жила все в той же крохотной каморке в бараке и по-прежнему часто забегала в кузню. Как-то летом – Яков Никитич к тому времени купил мотоцикл с коляской – она пришла к нему вечером, когда Бирдюк уже гасил горн, оживленная, радостная.

– Яков Никитич, очень хочется выкупаться.

– Могу отвезти к Липяговке, – предложил Бирдюк.

Они поехали. Липяговка – крохотная речушка. Но местами она разливается на добрый десяток метров, образуя бочажки, густо заросшие камышом и осокой. Он повез ее к одной из таких глухих заводей, и что там было – никто сказать не может.

Только в тот вечер Бирдюк не вернулся к своей Бирдючихе, а остался с Аней в бараке, в ее крохотной каморке, отгороженной фанерной переборкой.

Он оставил своей первой жене «райский уголок» со всем нажитым богатством, ничего не взял, кроме своей фронтовой шинели.

Они жили с Аней в крохотном закутке и были счастливы.

6

Аня не обманула надежд Бирдюка. Считай, каждый год приносила ему по сыну. Той памятной осенью, когда кузнец решил перебраться навсегда в колхоз, она была беременна четвертым. По этому поводу и злословили наши липяговские бабы.

Спустя неделю после того, как они вместе осмотрели кичигинскую пустошь, Бирдюк приехал на грузовике. Видно, много было наготовлено всего у кузнеца. Грузовик за день навозил гору и кругляков, и досок, и шиферу. Вечером приехали на «газике» председатель и парторг. Алексей Данилович, парторг, – бригадир над строителями. Голова-мужик. Недаром бабы кличку ему дали Алеха Голован.

Ну, походили они вместе с Бирдюком вокруг кичигинского дома, потолковали с кузнецом, да и уехали. Назавтра в помощь Бирдюку пришла вся плотницкая бригада. Плотники поставили возле кичигинского дома подмостки, установили верстаки. Тут как раз кончили копать картошку, а капусту вывозить было еще рано. Бригадам решили дать выходной.

Вечером на наряде объявили об этом. Все радостно загалдели. Но председатель не дал говорунам, вроде Авдани, разойтись вовсю, поднял руку, чтобы все замолкли, и говорит:

– Еще вот какое дело у меня к вам, товарищи. В связи с тем, что машинно-тракторная станция наша реорганизуется, то к нам решил переехать кузнец Промтов, Яков Никитич. Надо бы помочь ему скорее обосноваться у нас. Говори, Яков Никитич…

Бирдюк встал и, подпирая головой потолок председательского кабинета, глухо заговорил:

– Вот что, граждане. Я, может, слышали, решил возвернуться в Липяги. Прошу помочь мне. До зимы надо гнездо устроить. В обиде не оставлю. Как непьющему, водку мне ставить неудобно. Да и председатель не одобряет. А бочонок кислого, молдавского, так и быть, выкачу. И столы выставлю. И телка зажарю. Так-то!

«Помочь» или «помочи», когда приходят помогать «всем миром», в старину было обычным делом в наших местах. Надо ли поставить новый дом, смазать ригу, переделать заново

погреб, зовут родню, соседей – всех, кто захочет прийти. Липяговцы народ дружный; почти всегда «помочи» кончались всеобщей выпивкой и весельем. Но в последние лет десять с липяговских порядков дома только исчезали. А заново строиться – никто не строился. И от «помочей» отвыкли. Да и слово это стало само собой забываться. Но вот явился Бирдюк и задумал строиться «миром».

Мужики, бывшие на наряде, оживились. Поострословили по поводу обещанной Бирдюком бочки молдавского, сказали, что придут, и разошлись.

Народу собралось на «помочи» – в кино меньше приходит! Пришел Иван Степанович, председатель, хотя ему в последнее время что-то недужилось, все строители пришли во главе с парторгом; бабы с вилами и лопатами. Пришли, и верно: на лужайке возле кичигинского дома – столы, покрытые клеенкой; в котле варится туша теленка, и бочка с вином тут же стоит.

День выдался на славу. С утра свежо будто было, но к полудню туман растащило, проглянуло солнышко. Все поснимали телогрейки и работали в рубахах, бабы в цветастых кофтах, нарядные, веселые. Работали дружно, и за день, пока в котле готовилось жаркое, кичигинское поместье стало неузнаваемым. Плотники установили стропила. Бабы слепили из глины сенцы и двор – так в наших местах называют надворные постройки: котухи для скота, сараи. Бирдюк с мужиками расчищал яму – кичигинские погреба. Оказалось, что разобраны были только кирпичные своды, а выложенные из камня стены большей частью сохранились. Сделать новый накат – и погреб готов.

Вечером, когда выбили дно у бочки с вином, на пустыре, зиявшем долгие годы, как пробоина на крыше, в рядах нашей улицы стоял новый дом. Правда, у него не было еще трубы, но за трубой дело не станет.

Бирдюк был мастер и по печам. Через неделю и труба задымила.

Задымила печь; штукатурка пообсохла, и под самый Михайлов день, глядим, нагрянули все бирдючата. Забавное это было зрелище! Остановился у дома грузовик, крытый брезентом. Сначала на землю выпрыгнул сам кузнец. Протянул он руки-кувалды и стал вытряхивать содержимое кузова. Схватит карапуза, поднимет его высоко в воздух, перетащит через борт и поставит на землю. Выстроил он их так в ряд; тут и сама новая Бирдючиха вылезла из кабинки. И все они, как утята, – топ-топ – потянулись к дому.

К вечеру на задах появились какие-то жердочки, и на жердочках полощется свежевыстиранное бельишко.

Женские руки в дом пришли. Значит, дом обжит по всем правилам.

7

– Теперь и новой своей Бирдючихе рай-каравай строить будет, – шептались бабы. – Одной оставил именье. Другой почище отгрохает.

– А что ж ему, он кузнец. Сам, руками своими деньгу кует.

И верно, только перебрался Бирдюк, сразу же огородил перед домом палисад; понасажал рябины, клена, сирени. До самых заморозков хлопотал да прихорашивал новые свои хоромы. Осенью темнеет рано. А он придет с работы и все копошится возле дома в темноте.

Казалось, и холод, и дождь – все ему нипочем. Закалился он, что ли, возле огня.

Колхоз купил технику. Свезли все машины к кузне, понаставили их у самого пруда. Ни навеса, ни мастерской. Всю зиму работать приходилось на стуже. Председатель подбадривал ремонтников: мол, так и так, зиму потерпите, а там за лето такую мастерскую построим – не хуже дворца! Говорил председатель, а сам отводил в сторону глаза. Спешил перевести беседу на другое. То попросит скоренько отковать навесы для нового телятника, то поторопит с установкой автопоилок в четырехрядном коровнике – разве мало в большом хозяйстве дел для механизаторов!

Бирдюк соглашался и делал все, что мог.

На отчетном собрании Иван Степанович хвалил механизаторов, особенно Бирдюка. А когда зашел разговор о планах строительства на будущий год, то председатель развел руками: денег на мастерскую нет.

Обычно на собраниях Бирдюк отмалчивался. А тут его, видно, растеребило. Он поднялся со скамьи, прошел к столу, за которым сидел президиум. Снял шапку, повертел ее в руках. Мешает. Недолго думая, положил свой прокопченный во всех дымах треух на стол рядом с новеньким председательским картузом. Эка головища у него! Словно Мамаев курган, высилась Бирдюкова шапка на столе. Он начал уже говорить, но теперь мешали руки. Он засунул было их в карманы ватника, но тут же вынул обратно – неубедительно так выходит. Кашлянул, потрогал усы.

– Э-э…

Все заулыбались. Оно понятно: кузнецу легче работать руками, чем языком. Другие наоборот: говорить для них потребность, чуть ли не профессия; руки у них существуют только для жеста во время разговора. А для кузнеца лучше бы их не было в это время, этих тяжелых, заскорузлых рук!

– Э-э… Денег на мастерскую нет?! Не надо. Подождем. Механизаторы привычны на холоду работать, – заговорил Бирдюк. Правая рука его сначала задвигалась чуть-чуть. Затем, по мере того как он расходился, махал ею все быстрее, все энергичнее. Наконец Бирдюк так размахался, будто стучал молотом по наковальне. – Хуже другое – живем как скот! – раз – рука со всего маху вниз. Да какая рука – ручища! Пальцы на ней – как сошники у культиватора. Если бы кто-нибудь взялся соскоблить с этих пальцев въевшийся уголь, то, ей-богу, наскреб бы целый пуд антрацита. – Избы наши, посмотрите на них: стояли еще до нашествия татар. Земляной пол. Хорошо, свет со станции провели. А то ведь оконца с божницу. Тут и дети, тут и ягнята тебе. На все Липяги один колодец. А мы про коммунизм речи ведем…

Снова стук. Но теперь уже стучал председатель; стучал вежливо так, карандашом по графину с водой.

– Не по существу вопроса говоришь, Яков Никитич!

Кузнец повернулся всем туловищем к столу президиума, растерянно заморгал глазами: как же это так, первый раз в жизни заговорил перед людьми – и не по существу?!

– Правильно, Яков Никитич! – заступился за него парторг.

– Коровам все удобства: тепло, к каждой морде автопоилку приставили – пей сколько хошь. Лишь молоко давай, – продолжал Бирдюк. – А человек, та же доярка, за версту на себе ведра с водой таскает.

– Ты, поди, своей молодой крале опять крантик на кухню проведешь! – крикнула с места Таня Виляла.

– У нас не очень-то скоро проведешь. Колодцы-то двадцать сажен глубины.

Бирдюк улыбнулся. Его жестковатое, широкоскулое лицо стало вдруг добрым, как у ребенка.

– Проводил, было время! – с усмешкой отозвался он. – А теперь все, баста! Думал, можно сделать коммунизм и для одного себя. Теперь понял: для сынов, для всех жизнь-то! Если не мы, так хоть дети будут жить как положено.

Бабы после этих слов Бирдюка зашумели; мужики принялись за самокрутки. Минуты две молчали. Но вот кто-то заговорил, будто про себя; ему возразил другой – и…

Кто знаком хоть немного с характером наших липяговских мужиков, тот, наверное, отметил в каждом из них одну очень важную черту: любят они посудачить, особенно когда соберутся вместе. Ну и тут, после слов Бирдюка, как начали, как начали! У каждого свое мнение, свой проект. Один предлагает снова колодцы рыть, другой толкует о водопроводе. А дядя Авданя, мой крестный, тот где-то в газетах вычитал про болгар, о том, как они по-новому, по

плану, перестраивают свои села, и давай восхвалять болгар. Надо, говорит, делегацию послать в Болгарию за опытом. Председатель возражал. Для перестройки деревни нужны миллионы, а где их взять?

Мужики стали предложения всякие вносить, откуда денег можно раздобыть. Иван Степанович только усмехался. «Сначала надо продуктивность животноводства поднять, – говорил он, – а потом уж о быте думать».

Мужики не соглашались. Распалились так, что до полуночи уняться не могли. Охрипли все, но так ни до чего и не дотолковались.

Ясно было, что перестройка села – это пока что утопия, как сказал председатель. Труб для устройства сельского водопровода нет; строительных материалов нет; денег тоже, кстати, нет…

8

«Выходит, я говорил не дело? – думал Бирдюк, возвращаясь с собрания домой. – Пусть. Но разве это дело – жить так?»

Домой он пришел поздно. Настольная лампа была накрыта платком. Бирдюк приподнял край платка и посмотрел на спящих детей. Двое – постарше – спали на одной кровати. Меньшой в качалке. Жена прилегла на лавке, подложив под голову телогрейку, видимо, ждала-ждала да и заснула.

«Эка моя коммуна!» – радостно подумал Бирдюк. Боясь потревожить спящих, он снова прикрыл лампу. Хотелось есть. Он пошарил руками по плите. С краю, прикрытая тарелкой, стояла сковорода. Заглянул – картошка с салом. Разогревать не хотелось. Он вымыл руки, взял с плиты сковороду и, присев к кухонному столу, принялся с аппетитом уплетать холодную картошку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.